

**СИН
ТАК
СИС**



32

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

32

ПАРИЖ

1992

Журнал редактирует:

М. РОЗАНОВА

The league of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд

Московский представитель журнала — Татьяна Толстая

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

 SYNTAXIS 1992

Адрес редакции:

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Tél.: (1) 46 61 28 38

Бахыт Кенжеев

**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПОДРУГЕ ЗОЕ
В ЧЕСТЬ ПАДЕНИЯ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА**

Ты помнишь ли, милая Зоя,
весь коммунистический бред,
кошмарные годы застоя,
наследие сталинских лет?

В Европе — советские танки,
В России — цензура и мрак,
террор большевистской охранки,
Мордовия, Горький, Гулаг...

Бывало, в мечтах беззаботных
зайдешь в угловой гастроном —
и видишь убитых животных,
лежащих в отделе мясном.

Мясник, полыхая здоровьем,
хохочет и рубит сплеча,
гуляет по спинам коровьим
тяжелый топор палача...

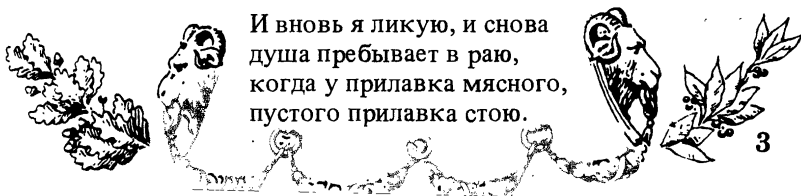
О, сколько таких преступлений,
над коими нынче дрожим,
свершил отвратительный Ленин
и сталинский гнусный режим!

Друзья, воспоем Горбачева,
за нас его сердце болит,
он честен, он даже корову
казнить без суда не велит.

А Ельцин! О доблестный Боря,
навек покоровивший меня,
когда он с отвагой во взоре
Янаева сбросил с коня!

Прощайте навек, коммунисты!
Я с вами дружить не хочу.
У власти теперь гуманисты,
у каждого по калачу.

И вновь я ликую, и снова
душа пребывает в раю,
когда у прилавка мясного,
пустого прилавка стою.



Александр Агеев

ЛЕТИТ СТАЯ НАПИЛЬНИКОВ...

1. Диагноз

Анекдоты, которые мы пересказываем друг другу едва ли не ежедневно, имеют счастливую особенность быстро выветриваться из памяти, освобождая место для новых и новых. Но если анекдот не забывается пять, десять, пятнадцать лет — внимание! Вам повезло услышать Истину. И не ту, которой домогаются следователи и судьи, философы и экспериментаторы, а ту, которая вам ежедневно нужна в борениях со временем, обществом и самим собой. Ту самую "народную мудрость", которую за кавычки не упрячешь. Истину, прямую и жесткую как диагноз.

Один такой анекдот я услышал летом 1978 года в самой южной точке спорного ныне полуострова.

Итак:

"Сидят на дереве два верблюда. Вдруг видят: летит стая напильников. И вожак кричит:

— Эй, верблюды, где тут север?!

— Нале-е-во... — меланхолически тянет двугорбый король пустыни, и стая со свистом сворачивает.

А на горизонте появляется другая стая, и ее вожак трубит еще громче:

— Эй, верблюды, где тут север?!

— Напра-а-во... — отвечает все тот же верблюд, задумчиво сплевывая...

Тут просыпается второй верблюд и спрашивает у товарища с некоторым даже беспокойством:

— Слушай, верблюды, ты почему одним сказал — налево, а другим — направо?

— Все равно не долетят: заржаве-е-еют...”

По молодости лет я считал анекдот смешным, но несколько туманным. Однако очень скоро понял, что мне на вооружение дан универсальный критерий отношения к жизни в абсурдном и разлагающемся обществе. С тех пор труд самоопределения не был для меня тяжким. Я читал, к примеру, очередное “решающее” постановление партии и правительства и уверенно думал: “Не долетят!”; смотрел помпезный репортаж о забивании “золотых костылей” на БАМе и говорил: “Заржавеют...”

А когда самый простодушный из верблюдов, посаженных рядом со мною на дерево, все-таки спрашивал, вылезая за рамки анекдота: “Да почему не долетят, почему заржавеют?”, я отвечал исчерпывающе: “Потому что напильники!”

Удивительно, но факт — мало кому из верблюдов приходило в голову задать вопрос попроще: “А почему, собственно, мы, верблюды, торчим тут, на дереве?”

Теперь не то. Прошли годы. Перестройка разбудила сознание темных верблюжьих масс, и многие верблюды уже летают. Правда, не с таким шикарным свистом, как напильники, а медленно и невысоко, раскорячив длинные ноги и свесив между ними мохнатое пузо. Сушная карусель в нынешнем небе: то одни налетят, то другие! Терпения не хватает, и все чаще нормальные верблюды, сидящие, как им и положено, на дереве, посылают и тех и других летунов не “направо-налево”, а в какое-то другое место...

Где север, они по-прежнему не знают и знать не хотят.

Сказка, конечно, ложь. Но отчего из десяти людей, готовых хоть что-то сделать в этой стране, семеро — еще бодрые, полные сил напильники, двое — непременно из породы летающих верблюдов, и лишь один, горемычный, — верблюд, упавший каким-то невероятным чудом со своего дерева и шествующий на юг?..

2. Рычаги и тормоза

Отовсюду только и слышно: апатия и хандра, никто ничего не хочет и не делает, трамваи ходят чудом, а самолеты уже не летают. Глаголы в ходу катастрофические: производство *падает*, связи *рвутся*, уровень *снижается*. И только инфляция весело *галопирует*...

Все так. Но не совсем.

Апатия апатией и хандра хандрой, но почти каждый из моих соотечественников кипит энергией. Вернувшись с работы и зашелестев газетами, каждый чувствует мощный толчок застоявшейся крови: действовать! немедленно действовать на благо отчизны! Эти лысые и губошлепые — там, в газетах и в телевизоре — они же ничего не понимают! Они же ведут нас к пропасти! Да я бы на их месте!..

Все жаждут деятельности — желательно за пределами своих должностных обязанностей. Каждый с вожделием смотрит через забор — на соседский участок. Соседский участок всегда ближе к источнику и рычагу...

О, источник! О, рычаг! Разворачивается всенародная кладоискательская эпопея. С шумом, треском и факельными шествиями идет поиск партийных сокровищ и того самого рычага, с помощью которого огромный, распухший труп империи можно перевернуть.

За партийные деньги я спокоен, но вот что страшно: они-таки найдут его, этот ужасный рычаг, и навалятся на него всем миром. Кошмарный сон: дырявый мешок с жидким дерьмом медленно переворачивается на другой бок, накрывая зазевавшихся архимедов и отравляя зловонием весь мир...

Я просыпаюсь в поту и чувствую тот же позыв: действовать, немедленно действовать! Объяснить, предсказать, предостеречь! Они же ничего не понимают! Они же приведут нас к пропасти!

Только выскочив на улицу и тут же попав в очередь за сигаретами, я успокаиваюсь. Слава тебе, господи, — на всякий рычаг довольно тормозов...

Еще раз — слава тебе, господи, — после империи даже пролетариату есть что терять. Говорите, прожрали нефтедоллары? Может, и прожрали, да не все. У моей соседки тети Даши, которая всю жизнь питалась картошкой с постным маслицем и каждую получку встречала покойного ныне мужа у проходной, эти доллары вон где — играют красками на каждой из стенок ее полвека неремонтированной квартиры. Тот — ереванской фабрики, а тот — бакинской... И что за беда, если из-под каждого ковра лезет в несметном числе таракан любой мыслимой масти! Тараканы — отдельно, а ковры — отдельно... Да неужто тетя Даша, которой не хватает пенсии на любимое постное мас-

лице, ползет теперь на какие-то — господи, спаси, — баррикады или вынесет свои закопченные кастрюли на всеобщее обозрение? Побойтесь бога — она и снохе их не покажет. Что же до пропавшего маслица — она маргарин из-под земли достанет, лишь бы ее ковры в целости и сохранности достались беспутным детям. И уж тем более тетя Даша никогда не свалится со своего обжитого, привычного дерева — не пойдет продавать свои сокровища, чтобы есть посытнее...

Три четверти века мяли и топтали наш народ, выколачивая из него "частнособственнические инстинкты", и добились только того, что они, эти самые инстинкты, безобразно мутировали, приобретая — в условиях "социалистической действительности" — все более и более гротескные формы. Но инстинкт есть инстинкт. При разумном устройстве общества его крайности ограничиваются, а при безумном даже они, эти крайности, могут быть в каком-то смысле разумными.

Бессмысленные и бездарные коллекции фарфора, ковров и хрусталя, собранные в застойные годы тетей Дашей и миллионами ей подобных, собранные вопреки здравому смыслу, на нищенскую милостыню государства и жалкие гроши, уворованные у него же — стоят теперь незыблемой скалой на пути безответственных политиков, пытающихся сеять ветер. Бури они не пожнут, потому что тете Даше некогда ходить на митинги и демонстрации — она стопятидесятая в очереди за маргарином, а дома ждет ее ежедневная, героическая борьба с молью. А если еще отдать ей в полное владение ее крохотную грязную квартиру, то тетя Даша, — хотя бы из уважения к собственности — может быть, сделает в ней первый за пятьдесят лет ремонт. Правда, мысль о том, что можно, продав ковры и хрусталь, купить квартирку посветлее и попросторнее, вряд ли уже придет в голову тете Даше — поздно. Но она уж точно придет в голову ее детям и внукам. И тогда бессмысленные сокровища, накопленные голодными и нищими, пойдут в оборот, начнут *работать* на наследников, на всю страну, которую как ни разорjali, а все-таки не смогли довести до состояния, когда терять нечего.

Инстинкт самосохранения может утратить политик, единственная реальная собственность которого — власть. Но тетя Даша будет держаться до последнего принадлежащего ей ковра.

И потому, когда дураки и фанатики, слыша скрежет "рычага", начнут впадать в революционную (или реакционную

— не все ли равно?) эйфорию, — я буду терпеливо ждать скромного, старческого скрипа тормозов...

3. Административный ужас

Удачная метафора "административный восторг" известна на Руси сотню с лишним лет. Административный восторг — это прошение о килограмме гвоздей, сопровождаемое тридцатью резолюциями, это окраска прошлогодней травы в зеленый цвет перед визитом большого начальства. Это бешеная деятельность с нулевым КПД. Это непререкаемая уверенность в том, что сделать — если будет на то высочайшее повеление — можно практически все. Прикажут построить вавилонскую башню — построим. Прикажут снести — снесем. Нет проблем!

Сознание административного всемогущества избавляло от необходимости реального действия. Это понятно: раз я все могу, какого черта я должен демонстрировать свои возможности именно сейчас? Само время в моих руках, не говоря уж о пространстве...

Однако время вырвалось из рук, перевернуло всю жизнь и — главное — заставило державных самозванцев глянуть в зеркало. А в зеркале, как известно, все наоборот. И в глаза административному восторгу глянул административный ужас. Считанных месяцев оказалось достаточно, чтобы выяснилось — человек на самой вершине, человек, наделенный всей мыслимой властью — *ничего* не может. Он суетится, он всает в грозные позы, он издает указ за указом, и ни-че-го... Вавилонские башни не строятся, вавилонские башни не сносятся... Даже воздух не особенно сотрясается.

И что же? Административный ужас оказался абсолютно равен административному восторгу. Если я ничего не могу — зачем же стану я рвать постромки и лезть из кожи? Я буду лучше давать еженедельные интервью, подробно объясняя объективные причины прискорбного бессилия власти и уверяя последних заповедных кретинов в своем страстном желании нечто сделать.

Тупик? Ну, отчего же...

Один мой знакомый, человек избыточно умный, убежденно гововрил мне совсем недавно: "Понимаете, Саша, чтобы что-нибудь сдвинулось в этой стране, нам всем — бедным, сред-

ним, богатым — надо подохнуть. По-дох-нуть! Представляете, сколько квартир мы сразу освободим, сколько проблем сразу решится? Нет-нет, не возражайте! По-дох-нуть! Только подохнуть! И ни у них, ни у нас — никаких проблем!”

Ну что, сограждане? Совершим патриотический поступок?..

4. Карфаген

Карфаген разрушен...

Кто бы мог подумать — в самом деле разрушен. Свистит ветер в праздных камнях и сторонятся света многочисленные мародеры.

Как говорится — и хрен с ним. Но существовала и сгинула вместе с ним целая генерация людей, основной профессией которых как раз и было — окончательное разрушение Карфагена.


Что говорить — это был цвет нации, нам не чета, люди отборного качества, отдававшиеся делу не как-нибудь — совершенно и бескомпромиссно. Мы — простые смертные, которым не очень нравился Карфаген и его дурацкие порядки — следили за ними с восхищением и выбирали их, куда только могли. Их тронутые ветром вечности бороды и овечьи дыханием ссылок лысины уже несколько лет не сходят с экранов телевизоров. Кто-то из них несгибаемо тверд, кто-то переживает мучительную, драматическую эволюцию, но все они решительно не умеют *строить*.

Когда-то, в ранней, должно быть, юности, они были запрограммированы на разрушение, и задача казалась такой гигантской, решение ее виделось в таком дальнем далеке, что речь и не могла идти о чем-то меньшем, чем *вся жизнь*. В расчете на всю жизнь и строилась личность, формировался характер, складывалась психика.

Теперь, когда стены Карфагена, оказавшиеся неожиданно ветхими, рухнули как бы сами собой, все эти достойные люди вдруг очутились в состоянии неразорвавшегося снаряда. Что им делать с уже отданной, уже возложенной на алтарь жизнью?

Они не знают, — и нагляднее всего убеждает в этом настоящая эпидемия расколов, постигшая в самые последние недели едва ли не все демократические движения.

Революция опять пожирает своих детей?..



**ОДА
НА ПАДЕНИЕ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА,
ВОСХВАЛЯЮЩАЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
г-на Б. Н. ЕЛЬЦИНА
И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДРАЖАНИЕ
ИЗВЕСТНОЙ ОДЕ
АЛЕКСАНДРА СОПРОВСКОГО
"НА ВЗЯТИЕ СЕНТ-ДЖОРДЖЕСА"**

*И се! марксизма пал оплот!
А. Сопровский*

Восславим доблесть и свободу!
Я кровью сердца говорю,
когда в слезах слагаю оду
уральскому богатырю!

С него страна не сводит взоров,
и мир им очарован весь —
Ужель из гроба встал Суворов?
Или Кутузов снова здесь?

Нет, не стяжатель старой славы —
иных времен передовик

для процветания державы
бесстрашно встал на броневик.

Не испугавшись негодяев,
за ним восстала вся страна,
коварный посрамлен Янаев
и Русь святая спасена.

И се, Тавриды скромный пленник
вновь у кормила корабля,
и схвачен за руку изменник
в палатах древнего Кремля.

Ликуй же, росс! Твоя отчизна
освободилась от оков,
кошмарный призрак коммунизма
нас устранил — и был таков.

Кто от народа глаз не прячет?
Кто непреклонный демократ?
Кого страшится аппаратчик
и большевистский казнокрад?

Трехцветное вздымая знамя,
ты гордо, честно правишь нами,
вовек героем русским будь,
гроза врагу, утеха другу,
Борис! булатную кольчугу
надев на пламенную грудь.

Бахыт Кенжеев



Л.Седов

К ДЕМОКРАТИИ — ГЛУХОЙ ТРОПОЙ

Когда меня просят высказать свои соображения относительно ближайшего и отдаленного будущего нашего распавшегося отечества, я отвечаю, что не питаю иллюзий по поводу возможностей для России в какой-то обозримой перспективе стать частью того цивилизованного мира, который в течение уже нескольких веков являлся для русских одновременно объектом притяжения и отталкивания, тайной зависти и показного презрения, внешнего подражания и внутреннего неприятия. Я говорю о мире западноевропейской культуры. Свою позицию я обозначаю как позицию культурологического пессимизма, и основывается она на изучении российской истории и русского национального характера, подкрепляемом данными о современном состоянии общественного сознания, которые добываются в ходе исследований общественного мнения, проводимых ВЦИОМ и затрагивающих не только вопросы переменчивых флуктуаций в высказываниях на злобу дня, но и более глубокие слои национальной психики в ее различных проявлениях. Получаемые данные оставляют не много надежд на то, что нам суждено уже в недалеком будущем вкушать прекрасные плоды демократии, экономической свободы, правового порядка, терпимости и неагрессивности в межличностных отношениях, всего того, что единственно и могло бы привести нас в европейскую семью национально-гражданских государств, как об этом наивно мечтал Горбачев, вступая на путь реформ.

По мере того, как реформаторские усилия сталкивались со все большим сопротивлением наличного человеческого мате-

риала, демократическая эйфория уступала место либо унынию, либо попыткам подойти к ситуации трезво реалистически. Всем памятливы прозвучавшие для многих демократов кощунственно выступления наших видных политологов И.Клямкина и А.Миграняна с предупреждением о том, что переход от тоталитарной к демократической системе невозможен без промежуточной стадии авторитаризма. Сразу приобрели актуальность давние и недавние, но равно пренебрежительно не замечавшиеся демократами-утопистами заявления А.Солженицына в пользу просвещенной монархии. Сегодня в рядах аналитиков, с трагическим скепсисом оценивающих перспективы демократического развития, мы видим и крупного специалиста по странам 3-го мира А.Киву, делающего ставку на тоталитарно-авторитарный режим, в отличие от коммунистического тоталитаризма "имеющий шанс развиваться в сторону демократии"¹, и даже такого столпа демократии и диссидента, как Лев Тимофеев, решительно заявляющего, что в России нет сегодня реальной основы для демократии и что власть в стране по-прежнему принадлежит тем же людям и тем же структурам, что и до начала реформ, только "теперь в их руках не столько вожжи политической или административной власти над личностью работника, сколько кнут власти экономической — через монополю контролируемую систему банков, бирж, ключевых отраслей крупной промышленности"².

Казалось бы, в такой солидной компании не совестно выступить и с собственным культурно-пессимистическим прогнозом, но что-то мешает, какое-то чувство неловкости перед друзьями-демократами и перед собственными демократическими симпатиями. Так что же? Да вот то, что, пожалуй, самым красноречивым пропагандистом этого реалистического подхода выступает и идеолог советского фашизма С.Кургинян, высказывания которого почти текстуально совпадают с моими собственными соображениями и с тем, что пишут вышеупомянутые теоретики. Он заявляет: "Я считал и считаю, что в наших условиях, без сформированного гражданского общества, демократии быть не может..." "В общеевропейском доме нам места нет..." "Наше общество — общество восточного типа, восточной

¹ НГ, 1.02.1992. "Хорошо бы не забывать опыт других".

² Там же. "В России нет соц. основы для демократии".

ориентации. Восточное общество приемлет те реформы, где есть коллективная цель, при которой сохраняется корпоративизм, то есть оно приемлет только авторитарную модернизацию. Сталину это удалось.”

Поэтому, прежде чем приступать к дальнейшему изложению своей точки зрения, хотелось бы объяснить, дабы не навлечь на себя незаслуженного гнева общественности. Совпадение теоретических взглядов вовсе не означает совпадения вытекающих из них линий личного поведения. Как признание, допустим, неизбежности существования проституции вовсе не означает, что каждый понимающий это должен немедленно бежать в публичный дом, так и осознание неотвратимости установления авторитарного режима в нашей стране не требует способствования этому историческому процессу или участия в нем. Именно потому Клямкин, Тимофеев, автор этих строк в августовские дни оказались в рядах защитников Белого Дома, а Кургинян — в роли сочувствующего путчистам и даже их консультанта. Именно потому убежденный в неизбежности торжества на земле России “нашенской”, российской, еще не названной разновидности фашизма, Л.Тимофеев пишет: “Человеческий фактор” — это мы с вами. Мы и будем фашистами. Мы и будем до последнего дыхания противостоять фашизму”. Он не спешит, в отличие от Кургиняна, становиться первым учеником (или учителем?) дракона, руководствуясь рожденным в годы жертвенного диссидентства девизом: “За успех нашего безнадежного дела!”

На этом можно пока закончить обсуждение моральных аспектов проблемы, перейдя к вопросам аналитическим. Опираясь на исторический опыт России, можно утверждать, что ей никогда не удавалось разорвать порочный круг, в котором стадии тоталитарного идеологического господства сменялись периодами менее жесткого, но все-таки ориентированного на государство и беспощадного к индивиду авторитарного правления. Никогда здесь общество как саморегулирующаяся система отношений между людьми не получило развития, будучи подавляемо всемогущей государственной машиной. Политическая система реализовывалась в виде режима своего рода добровольной самооккупации, при котором одна часть нации выступает в роли победителей, а другая, бо́льшая, в роли побежденных. Возможно, эта конфигурация возникла еще во време-

на действительной оккупации страны татарами, но с тех пор она воспроизводится с неизменным успехом.

До настоящего времени Россия прошла через три таких тоталитарных периода, в каждый из которых ею овладевала особая самоокупирующая сила. При Иване Грозном тоталитарно-идеологический режим опирался на московское боярство и царскую дворню, организованные в опричину и осуществлявшие террор по отношению к остальному населению. Петр I установил в стране свое тоталитарное иго и навязал ей имперскую идеологию. Опорой первого было дворянство, объединенное в гвардейские полки, основой второй — новый культ техники и науки, определивший все последующее развитие. Третья тоталитарная стадия завершается сейчас. Эпоха Сталина была временем абсолютной власти аппаратчиков, номенклатурной криминальной мафии бюрократов. Идеология марксизма-ленинизма, этой новой модификации культа науки и техники, стала основой легитимности режима, а партия выполняла функции оккупирующей силы.

Постепенное послесталинское разложение тоталитарного режима перешло в обвал с началом горбачевской перестройки. Отсюда не следует, однако, что намеченная выше смена стадий, характерная для русской истории, не воспроизведет себя с неотвратимостью естественного закона. Сегодня, по всем признакам, мы вступаем в новую автократическую фазу развития, когда государство ослабляет свою мертвую хватку на горле народа, а армия государственных служащих в какой-то мере рассеивается и начинает осваивать сферу более частных занятий, как это происходило в послепетровский период с дворянством. Именно в этом суть "дикой" приватизации, в ходе которой министерские и директорские кадры, работники партаппарата и бывшие офицеры КГБ, пользуясь полной неразберихой в сфере отношений собственности, отсутствием четких представлений о том, чье есть чье, и веры в прочность чьих бы то ни было собственностических прав, перекачивают государственные средства и имущество в руки участников, полугоперативных ассоциаций и концернов, совместных предприятий, коммерческих банков и товарных бирж.

Подобные же процессы происходят и в политических структурах, где наиболее динамичные представители старой номенклатуры постарались пересесть из кресел старого аппарата

на депутатские места в представительных органах власти и до сих пор располагают большинством во всех местных советах, за исключением Москвы, Петербурга и еще нескольких крупных промышленных центров. Наличие у них старых связей типа круговой поруки, управленческих навыков, столь часто отсутствующих у молодых радикальных демократов, пришедших к власти с митинговых площадок и потому немало напоминающих ораторов-комиссаров революционной поры, их разрыв с фундаменталистской частью старых партаппаратных кадров и ортодоксальной идеологией, — все это делает из них внушительную политическую силу, могущую служить опорой авторитарного реформизма. В большой политике интересы этого слоя готовится представлять партия "Движение за демократические реформы" (ДДР), руководство которой включает наиболее влиятельных представителей реформистского крыла бывшей высшей номенклатуры КПСС — таких, как Э.Шеварднадзе и А.Яковлев, и рядом с ними новых лидеров, вынесенных на политическую сцену с помощью запущенного Горбачевым механизма выборов, но в свое время также успевших посостоять в рядах КПСС в целях более успешного продвижения по ступеням карьеры (А.Собчак, Г.Попов). На сегодняшний день эта "партия умеренно демократического авторитаризма" или, как ее еще называют, "мэрская партия" представляется единственной реальной политической силой, на базе которой может создаться внутридемократическая оппозиция ельцинской "партии власти", способная подхватить эту власть в случае провала программы Ельцина, не отдав ее в руки уже стоящих наготове и ждущих провала демократов красно-коричневых национально-державных когорт.

Важно отметить при этом, что в массе своей русские (так же, как среднеазиаты, украинцы и белорусы, но в противоположность народам Балтии, Кавказа и Восточной Европы) обнаруживают полную терпимость к лицам коммунистического, так сказать, "происхождения", хотя (судя по опросам) доверие к самой КПСС и ее лозунгам рухнуло уже летом 1990 г. До сих пор люди не видят вокруг себя и не пытаются найти альтернативных лидеров, веряя свою судьбу тем же персонажам, которые руководили ими всегда. Например, в составленном на основании опросов списке деятелей, которых население страны считает своими политическими лидерами, из 15 имен

более половины (8) принадлежали к высшим эшелонам партийного аппарата. Еще 6 стали политиками национального масштаба благодаря выборам. При этом 5 из них вышли из рядов профессуры, успешно сочетавшей научную деятельность с партийной карьерой (один — из военных). И только один лидер (Черновил) имеет чисто диссидентское прошлое, но он стоит предпоследним в списке по числу упоминаний и явно уступает своему партийному конкуренту В.Кравчуку. Это говорит о том, что во всех наиболее крупных республиках бывшего Союза не существовало альтернативных партии источников формирования политических элит, а диссидентская организация "шестидесятников" оказалась неспособной взрастить в своих рядах сколько-нибудь масштабных политических вождей.

Но вина ли это самой интеллигенции? Или так устроен наш народ, что не смог разглядеть в диссидентах защитников человеческих прав и борцов с преступным режимом?

Тут мы вплотную подходим к проблеме "гомо советикуса" как особого типа человеческого материала, из которого и выстраивается вся наша политическая, социальная и экономическая реальность. Надо сразу сказать, что я не принадлежу к той школе историков и социологов, которая склонна видеть в российской послереволюционной истории решительный разрыв с дореволюционным прошлым, а в "гомо советикус" нечто совершенно отличное от "гомо руссикус". Разумнее видеть в первом определенную разновидность второго и не обольщаться насчет того, что здесь не существует никаких преемственных связей. Прав здесь не А.Солженицын, а скорее Г.Федотов, писавший, что "новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства..."¹

Одной из отличительных черт этого человека, принадлежащего, по одной из классификаций, к православно-исламскому культурно-психологическому типу, является то, что в своем психологическом развитии он в массе своей не вызревает до взрослого в личностном плане состояния, а как бы застывает в стадии подростковости. Теперь вообразите общественную структуру, складывающуюся не из взрослых личностей с их индивидуализмом, прочными семейными устоями, развитыми

¹ Г.П.Федотов. Новый град. Нью-Йорк. 1952.

нравственными ориентирами, а из подростков, склонных к коллективизму и установлению отношений командования и подчинения по принципу "кто сильнее", к объединению в большие однополюсные мужские группы, в которых вместо индивидуальной совести и личной ответственности работают механизмы идеологизированной групповой идентификации и поведенческие коды, в которых записаны не универсальные нормы и правила, а весьма произвольные установления, провозглашаемые старшими в иерархии власти. Согласитесь, что первое общественное устройство будет столь же похоже на второе, как, скажем, сообщество бабочек на сообщество гусениц.

При взгляде под таким углом зрения большевистский период не кажется каким-то неестественным отклонением от основного русла русской истории, а напротив, представляется ее органичной частью. Как выразился когда-то безвременно погибший философ Э.Зильберман, "если бы марксизм не существовал, его следовало бы выдумать, чтобы естественный потенциал России получил свое историческое воплощение".

Это — жестокая констатация. Однако возвращаясь к вопросу о терпимости наших людей к своим бывшим коммунистическим хозяевам, я полагаю, что объяснить ее можно во многом чувством разделенной вины, поскольку для огромного числа соотечественников коммунистический режим был продуктом их собственного добровольного вступления в систему господства одних и покорного подчинения других, результатом их бессознательного влечения к такого рода властным отношениям, которые характерны для подростковой компании ("общество в подворотне" в масштабах страны) или неформального солдатского коллектива. Ничего удивительного поэтому нет в том, что сила и могущество сохраняют в системе ценностей нашего общества самое высокое место, что и проявляется ныне в громких lamentациях по поводу утраты страной статуса великой державы и в нарастании шовинистических настроений. Эта особенность не укрылась от взоров внимательных западных наблюдателей. Например, У.Черчилль в знаменитой речи в Фултоне в марте 1946 г. говорил: "Я видел наших русских друзей и союзников во время войны и пришел к убеждению: ничто не восхищало их так, как сила, и ничто не было для них менее уважаемого, чем слабость, особенно военная слабость..." Опросы показывают, что армия сохраняет положение одного из

пользующихся наибольшим доверием институтов (27% — полное доверие; 40% — частичное; 10% — недоверие). До самого последнего времени одним из почитаемых институтов был и КГБ, и даже после путча доверие к нему все еще превышало недоверие, хотя и приблизилось к критическому уровню (9% — 30% — 32%). Когда 40% населения высказывают полное или частичное доверие машине государственного терроризма, прославившейся не только своими прошлыми преступлениями, но продолжающей свои сомнительные операции по сей день, есть над чем призадуматься. Еще более настораживают результаты ответов на вопрос об отношении людей к так называемым добровольным помощникам КГБ, т.е. стукачам и доносчикам. 30% русских ответили, что они одобряют такого рода деятельность, и лишь один из четверых отозвался о ней отрицательно. По числу ответивших положительно русским принадлежит это сомнительное лидерство среди других национальностей бывшего Союза, из которых только у узбеков и молдаван наблюдается такое же превышение положительных ответов над отрицательными (26:14 и 26:11). У других наций преобладает негативное отношение к стукачеству, особенно явно выраженное у украинцев (10:46), грузин (5:83) и литовцев (4:58).

Русские люди испокон века привыкли думать о себе как о принадлежности какого-то громадного целого, некоего суперколлектива — Государства, Державы, Отечества, Партии, "Соборной" Церкви и т.п. Сегодня, когда Партия рассеялась, "как сон, как утренний туман", Держава развалилась, а Государство ослабло настолько, что прежние идентификации становятся затруднительными, люди, наконец, начинают осваивать, не без решительного воздействия средств массовой информации, либерально-демократические понятия в виде пока скорее просто внешне воспринятых лозунгов, заученного, но не переработанного душой символа веры. Так, в одном из недавних опросов в ответ на вопрос о том, что важнее — человеческие права и свободы или интересы государства, 70% респондентов высказались в пользу прав и лишь 17% за примат государства (11% воздержались от ответа). Однако в ответах на другие вопросы часто раскрывается все тот же традиционный взгляд на государство как на основной субъект всех человеческих отношений, самый важный элемент в системе общественных связей, опосредующий любые действия и способы поведения людей.

Его роль может оцениваться положительно или отрицательно, но крайне редко высказывается мнение о том, что она должна быть незначительной. Так, выясняя оптимальный, с точки зрения наших людей, характер взаимоотношений между индивидом и государством, мы получили 58% ответов, что "государство должно проявлять больше заботы о людях", 10% — что "люди должны идти на определенные жертвы в интересах государства", и лишь 23% заявили, что "не государство, а сами люди должны проявлять инициативу и заботиться о себе". Примерно в такой же пропорции разделились голоса при ответе на вопрос, смогут ли советские люди просуществовать без постоянной опеки и помощи со стороны государства. 60% ответили отрицательно, и только 20% признали такую возможность!

Сходная ситуация имеет место и в сфере экономических идей и представлений. За приватизацию и рынок высказываются порядка 45-50% респондентов, в то время как отрицает реформы вдвое меньшее число людей. Однако другие ответы показывают, что наш человек едва ли готов к трудностям и стрессам, связанным с конкуренцией и риском в условиях подлинно рыночной экономики. Так, 54% населения предпочитают небольшие, но гарантированные заработки, и только 27% высказываются за более напряженный труд за большую плату. Очень выпукло проступают эгалитарные "антибуржуазные" свойства национального менталитета. 40% людей полагают, что несправедливо, когда одни получают слишком много, а другие слишком мало, хотя уже 47% удалось убедить в том, что государство не должно ставить никаких ограничений на рост доходов. Только один из четырех опрошенных полагает, что источником личного богатства могут стать в наших условиях талант, трудолюбие, предприимчивость и целеустремленность, 65% же уверены, что богатство можно добыть только бесчестными средствами. Соответственно, 60% людей видят будущее нашей страны сквозь уравнительную призму, с неодобрением отмечая, что "богатые станут богаче, а бедные — беднее", и лишь каждый четвертый обнаруживает достигательную установку, отвечая, что это будет общество, где те, кто хорошо трудятся, смогут получать достойное вознаграждение.

Русский человек легко смиряется с обогащением тех, кто так или иначе причастен к власти, но испытывает недовольство, когда богатство достается такому же, как он, рядовому члену

общества, путем ли его собственных заслуг, через наследство ли и т.п. Это опять-таки свойство подросткового сознания, легко фиксируемое в тинэйджерских группах, где вожаку положено иметь, скажем, свой велосипед, и никто на него не покушается, но стоит появиться велосипеду у рядового пацана, как он будет вынужден предоставить его в общее пользование. Только 15% наших людей не имеют ничего против появления в стране легальных миллионеров и еще 34% не возражают против этого, при условии, что деньги заработаны честным путем, что бы ни подразумевало это выражение. Другая же половина населения настроена против столь больших состояний: 35% заявляя, что их нельзя обрести честным способом, а 10%, что они должны быть запрещены и все.

Единственным, кроме богатства властвующего слоя, видом богатства, которое готово признать наше подростковое население, является богатство, свалившееся с неба благодаря удаче, везению и т.п., явно предпочитаемое состоянию, нажитому трудом и талантом. Этот тезис подтверждается ответами на вопрос о том, какие виды заработков должны быть освобождены от налогообложения. 60% назвали выигрыши в лотерею и другие игры, 15% — авторские гонорары и только 4% — доходы от кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности. И наоборот, за повышение налогов на кооперативы и ремесленников высказались 58%, на авторов — 30%, а на лотерейные выигрыши — 15%.

Отношение людей к рынку полно непоследовательностей и противоречий. Так, в одном и том же опросе 35% утверждают, что новые коммерческие структуры помогут вывести страну из кризисного состояния (столько же поддерживают противоположное утверждение), а всего несколькими вопросами ниже только 23% выражают мнение, что от развития этих структур в выигрыше окажется вся страна, а 52% полагают, что выгоды достанутся только их владельцам.

Соседство в умах людей взаимоисключающих суждений — довольно типичная для наших опросов картина, и проистекает она из того обстоятельства, что изучаемый нами человеческий материал находится как бы в фазе утраты им твердого состояния и превращения в "газообразную" атомизированную массу, вследствие кризиса всех жизненных сфер, начиная с экономики и кончая высшими ценностями и фундаментальными ориен-

тациями и идентификациями. 40% наших респондентов не видят вокруг никаких авторитетов и склонны полагаться только на свой собственный здравый смысл, что, как показывает анализ, только в небольшом числе случаев означает движение в сторону индивидуализации, для большинства же знаменует полное крушение всех механизмов ценностной регуляции и возникновение опасной ситуации "анаксии". За короткий период в несколько лет русский народ пережил последовательный ряд таких ценностных словов. Уже в 1988 г. впервые начавшиеся опросы зарегистрировали крушение образа внешнего врага, враждебного западного мира и Советского Союза как спасителя народов и пример для всего человечества. Сегодня эти представления сохраняются у очень небольшого числа людей в России, но небезынтересно отметить, что в Сибири, этой лигачевско-распутинской Вандее, они обнаруживают большую живучесть, встречаясь примерно у одного из десяти ее жителей. Однако пережитки великодержавного сознания свойственны по-прежнему огромным массам людей. Во всяком случае, 80% россиян говорят о своем сожалении по поводу утраты страной положения великой державы, и только 10% выражают в этой связи свое удовлетворение. Последних больше среди людей в возрасте до 40 лет, в образованных слоях и, в особенности, среди кооператоров, бизнесменов и ремесленников.

По-разному переживалось, например, такое событие, как вывод войск из Германии и восточноевропейских стран, и хотя большинство все-таки поддержало эту политику (42% — за, 30% — против), противников ее оказалось довольно много в среде членов партии (28:41) и управленцев (38:42), т.е. людей, причастных к осуществлению властных функций.

Следующей жертвой ценностного кризиса пали коммунистические идеалы: к концу 1989 г. всего около 10% населения, главным образом пенсионеры, сохраняли свою веру в коммунизм. Коммунистическая партия полностью утратила доверие к июлю 1990 г. Однако социалистические идеи сохранили свою привлекательность для многих, что видно, например, по ответам на вопрос о будущем нашей страны. Респондентам было предложено ответить, какую модель развития из нескольких предложенных они предпочли бы. Большая сумятица в умах еще раз подтвердилась тем, что каждый четвертый затруднился сделать какой-нибудь выбор. Остальные же выказали значи-

тельную предрасположенность к тому или иному варианту социалистического или социал-демократического устройства. Только 9% высказались в пользу капиталистической модели по образцу США (среди молодежи этот процент вырастает до 17%), 27% в среднем и еще больше в образованных слоях предпочитают шведского типа социал-демократию, а одна треть и еще больше среди директоров предприятий, а также деревенских жителей и неквалифицированных рабочих хотели бы видеть страну страной демократического социализма, при всей туманной неопределенности этого словосочетания. Возврат к социализму сталинского типа приветствовали бы 7% населения, а среди неквалифицированных рабочих такую альтернативу выбрал каждый шестой.

Имперско-державные ценности оказались еще более живучими. К февралю 1991 г. центральные власти утратили доверие во всех республиках Союза, но население России и Средней Азии разделилось примерно пополам: по 40% тех, кто доверяет и кто не доверяет Центру. Даже после путча это соотношение сохранялось, и 40% русских выступало за роспуск Верховного Совета СССР, а 36% против. К ноябрю 1991 г. большинству (63%) стало ясно, что Союз — мертв, и не соглашалось с этим лишь 20% опрошенных. Однако далеко не всем оказалось по силам переварить эту горькую реальность, и 40% заявляли, что теперь они поддержали бы лозунги путчистов, провозглашавшие цели сохранения Союза, восстановления порядка в стране и т.п. Ровно столько же по-прежнему отвергали претензии путчистов, и 18% воздержались от ответа. Те же 40% с неодобрением относятся к провозглашению Украиной независимости, причем 6% из них выражают по этому поводу сильное возмущение. Четверть населения отнеслась к этому факту с безразличием, и лишь около 20% заявили о своем одобрении. Это говорит о том, что в России существуют сильные предпосылки для реанимации великоимперских настроений, чем и занята в настоящее время довольно значительная группа политиков и публицистов, пытающихся консолидировать самые различные силы — от недобитых коммунистов до монархистов и шовинистов фашистского толка — под знаменами Великой России. То, что под красной оболочкой коммунистов легко обнаруживается коричневый кожный покров фашизма, может смутить лишь очень наивных людей, еще не разобравшихся в общности при-

роды этих двух разрушительных коллективистских идеологий.

Прихотливая смесь из обломков социалистических и имперских ценностей таит в себе огромный взрывчатый потенциал, легко способный сдетонировать в условиях необратимой утраты Россией статуса великой державы, еще недавно игравшей решающую роль в мировой политике и провозглашавшей миссию спасения всего человечества, а теперь превращающейся в страну второго разряда или третьего мира, в своего рода "бе-



**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ СЕРГЕЮ ГАНДЛЕВСКОМУ,
СОДЕРЖАЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПО СОЧИНЕНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОММУНИЗМА**



Сергей! Поэмами своими
порядочный составив том,
давно, мой друг, обрел ты имя,
и знаменитое притом.
Но, певший Лесбию и Мавру,
Лилет созвездье и Марин,
льзя ль почивать на этих лаврах?
Очнись, российский гражданин!
Нужны ли страждущей эпохе
и героической стране
твои лирические вздохи
и поцелуи при луне?

В восторге небывалых сдвигов
один среди ночных ветвей,
о фермах распекает Пригов,
России верный соловей.
А что Кибиров? Оком влажным
глядит, возвышенный творец,
и вдохновенно и протяжно
под стук восторженных сердец
поет, что сбросила оковы
отчизна, что на ней уж нет

люю Африку". Эта мысль непереносима для таких политиков, как Ружкой, который прямо объявил, что он не желает жить в "банановой республике". История вряд ли будет считаться с их хотениями, однако предвидя их попытки изобрести машину времени для путешествия в "светлое прошлое", необходимо предостеречь: двигатель такой машины в наших условиях может заправляться только большой кровью.



цепей! И даже у Цветкова
о том имеется сонет.

Один лишь ты, Сергей угрюмый,
упрямым духом не воспрял,
далек лирическою думой
от хитроумных хуторян.
Поэт! Не хватит ли по пьянкам
шататься с язвою в груди?
Для Агрохима с Кредобанком
хореи звучные найди!
Не спорю я — презренно злато.
Но разве лирнику к лицу
отвергнуть милость Мецената
благословенному певцу?

Немало в жизни есть курьезов,
стрекоз средь луговой травы.
Но нерентабельность колхозов,
но независимость мордвы
куда чудесней, друг мой милый!
Отечества достойный сын
не тот, кто с миною унылой
заходит в винный магазин,
не тот, кто грезит об альковных
страстях! Хозяиственника дар
прекрасней, чем Егор Гайдар,
пленительней утех любовных.



Олег Давыдов

КТО РАЗБИЛ ГОЛУБУЮ ЧАШКУ?

Всякому времени свой фрукт. У застоя — широкие брови, перестройка отмечена крупным родимым пятном. Нынешняя экономическая реформа приняла облик человека небольшого росточка с одутловатым лицом вечного младенца. У реформы всегда напряженные губы (как будто она боится выпустить из себя какую-то тайну) и — слипшиеся волосики, наивно пытающиеся прикрыть раннюю лысину. Реформа присюсюкивает и причмокивает, как вурдалак, после каждого слова и оставляет у вас впечатление, что гувернер позабыл повязать ей слюнявчик и вытереть нос.

Но защитники реформы говорят, что это обманчивое впечатление. Они утверждают, что впервые за 70 лет страна получила знающее и образованное правительство. Мол, члены правительства реформ знают толк в экономике. И не только в ней. Они очень разносторонни. Вот Егор Гайдар, который в основном и создает вышеописанный имидж реформы, знает толк в журналистике. Во времена перестройки он был редактором отделов в "Коммунисте" и в "Правде". Вероятно, поэтому он сейчас так много выступает по телевидению, отдувается за все правительство, объясняет... Чувствует себя на своем месте. Почему? В задушевном интервью газете "Московские новости" на вопрос "Что заставило вас заняться журналистикой?" — Егор Тимурович ответил: "Соблазн гласности и, может быть, гены". Вон в чем все дело-то, в генах. Гены действительно многое могут нам объяснить и в характере Гайдара нашего времени, и в том, почему именно так, а не иначе проходит нынешняя реформа.

Не бандит, но расстреливал несчастных

Поговорим о генах. Дед Егора Гайдара, Аркадий Петрович Гайдар (Голиков), знаменитый советский детский писатель. Биография его хрестоматийна: в 14 лет ушел в Красную Армию, в 17 — уже командовал полком, в 20 лет вышел из армии по болезни, потом стал писать, а погиб в 41-м. Очень хорошая биография, вот только не ясно: почему же он все-таки из армии-то ушел и стал писателем?

Недавние публикации в "Огоньке" и "Литературной газете" отчасти рассеяли туман, скрывавший причину, по которой Аркадий Голиков расстался с армией. Оказывается, в Хакасии, куда он был брошен для борьбы с бандитами (или повстанцами?) Соловьева, будущий писатель слишком жестоко обращался с пленными — пытал их и расстреливал без суда. Солоухин в "Огоньке" уверяет, что хакасы и до сих пор называют Гайдара не иначе как палачом, и сообщает со слов своего хакасского друга Михаила Кильчичакова историю о том, как Гайдар посадил в баню 16 заложников и поставил им условие, что если они не скажут к утру, где скрываются бандиты, — расстрел. А те, несчастные, просто не знали. И вот утром юный герой стал выпускать заложников из баньки по одному и лично каждому стрелял в затылок. Известен также случай, когда несмотря на приказ доставить пленных в штаб для допроса Аркадий Петрович расстрелял их — лишь потому, что не хотел давать людей для конвоя. Из-за этого на него даже завели уголовное дело. По заключению командира ЧОН Енисейской губернии, Голиков совершил, "пользуясь своим служебным положением, целый ряд преступлений".

Но суд так и не состоялся. Аркадий Петрович просто был уволен из армии по болезни с диагнозом "травматический невроз". Эта болезнь возникает из-за ушибов головы и позвоночника. А ушибся Аркадий в 19-м году, когда взрыв упавшего рядом снаряда сбросил мальчика (ему не было еще и 16-ти лет) с лошади и ранил его. Считается, что симптоматика травматического невроза (повышенная возбудимость, нарушения сна, снижение интеллектуальных способностей, склонность к жестокости) проявляется примерно через десять лет после травмы. У Гайдара все проявилось значительно раньше — через три года. Борис Камов, автор статьи в "Литературной газете"

(№ 5, 1990), из которой можно почерпнуть некоторую информацию об уголовном деле Голикова и симптомах болезни Гайдара, называет причиной ускорения болезни "физические и нравственные перегрузки в период созревания организма". Ну, это, конечно, советская лирика. Болезнь Гайдара куда интересней и глубже...

...взял он нож и зарезал сам себя

Итак, Аркадий Голиков был назначен начальником Второго боерайона в Хакасии. Имея уже богатый опыт борьбы с восставшими крестьянами Тамбовской губернии, он быстро разобрался в ситуации: большая часть местного населения поддерживает Соловьева. Значит, прямое подавление восставших бесперспективно, нужны какие-то нетривиальные методы борьбы. Голиков стал вербовать агентуру. Главным образом первербовывал лазутчиков Соловьева. Расплачивался с ними дефицитной мануфактурой. При этом зачем-то давал им мандаты, хотя сам (из соображений секретности) никакой документации не вел, все держал в голове. Но вот насчет этих мандатов: на куске полотна он писал: такой-то "состоит у меня разведчиком. Начальник боерайона ЧОН 2 Голиков". А затем — надрезал себе руку, мочил кровью печать и прикладывал ее к документу. Дикая этот ритуал неизменно приводил завербованных в состояние панического ужаса, и, выйдя на свободу, они немедленно бежали спасаться — либо в тайгу к Соловьеву, либо в город к начальству Голикова.

Впоследствии, когда Голиков уже стал Гайдаром, он перестал выдавать кровавые расписки, но кровопусканиями продолжал баловаться. Борис Закс, близко знавший Гайдара, сообщает в своих "Заметках очевидца": "Гайдар резался. Лезвием безопасной бритвы. У него отнимали одно лезвие, но стоило отвернуться, и он уже резался другим... Все полы в квартире были залиты свернувшейся крупными сгустками кровью... При этом не похоже было, что он стремится покончить с собой. Он не пытался нанести себе смертельную рану. Просто устраивал своего рода "шахсей-вахсей". Позже, уже в Москве, мне случилось видеть его в одних трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были сплошь — один к одному — покрыты огромными шрамами. Ясно было, что резался он не один раз".

Можно, конечно, пытаться объяснить все это травмами и перегрузками при развитии детского организма, можно считать тяжелейшие запои методом "самолечения", попыткой избавиться от кошмаров, в которых к нему приходили (это факт) убитые им в детстве люди, можно назвать саморезанье и, в сущности, самоубийственную гибель "искуплением" (именно это слово стоит в заголовке статьи Камова). Все это можно, но только все это лишь "жалкий лепет оправданья", а нас сейчас интересует "равнодушная природа", гены, воздействия которых на себя не исключает — вы помните — наш вице-премьер-реформатор. Впрочем, если бы он отдавал себе отчет в том, о чем говорит, он не стал бы говорить о генах так кокетливо. Ведь он говорил о болезни.

Итак, постараемся получше понять болезнь Гайдара. Вышеупомянутые странности поведения писателя хорошо укладываются в то, что Эрих Фромм описывает как "некрофильский характер". Ведь некрофилия — это не только половое извращение. В книге "Некрофилы и Адольф Гитлер" Фромм пишет, что некрофилия — это "страсть делать живое неживым, разрушать во имя одного лишь разрушения. Это повышенный интерес ко всему чисто механическому. Это стремление расчленять живые структуры". Конечно, мы слишком мало знаем об интимной жизни Гайдара, но ведь есть его книги, а тексты всякого писателя — те же сны — отличный материал для анализа. Например, знаменитая "Школа". Она по праву считается автобиографической, там даже главный герой носит фамилию Гориков. И хоть многие реальные факты, как и фамилия автора, в книге искажены, — все же духовная, так сказать, биография в ней представлена четко.

Товарищ — маузер

И в первую очередь в повести мы обнаруживаем детство, проведенное почему-то главным образом на кладбище, и присланный с фронта отцом маузер. Ничего себе подарочек тринадцатилетнему сыну! Этот маузер юный герой все любовно поглаживает. Символ вполне определенный... Но в данном случае — это как бы орган деторождения наоборот. Орудие смерти. Интересно, что маузер этот становится буквально тем фалом, уцепившись за который, ребенок втягивается в область смерти — в

революцию и войну. Бегство из школы, из родного дома, случайное первое убийство — все это происходит при непосредственном участии завещанного отцом маузера. (Точно так же перо жар-птицы в "Коньке-Горбунке" ведет Ивана-дурака по ступенькам педагогической мистерии). В конце концов маузер приводит ребенка в Красную Армию, где, судя по тексту Гайдара, уже безраздельно царствует смерть. "Школа" — это ясное символическое описание становления унаследованного по отцовской линии некрофильского характера. Характера Гайдара. Травмы и перегрузки наступают впоследствии.

Маленькому Аркаше Голикову, вероятно, никто не дарил настоящего маузера, а вот любовь к смерти и разрушению ему явно была подарена. И он развил в себе эту любовь, придя в революцию. Эрих Фромм замечает, что для некрофила характерно причинять себе боль (а в пределе он самоубийца). В этой связи интересно, что кровопускания Гайдара производили на людей впечатление какого-то ритуала ("шахсей-вахсей", упомянутый Заксом, это такая религиозная церемония у шиитов, сопровождаемая самоистязанием). Очевидно, речь здесь может идти о каком-то глубоком психическом атавизме, о возвращении тех древних переживаний, когда жертва магически соединяла членов кровавого братства (вспомним кровавые штампы на мандатах "разведчиков" Голикова). Ему, видимо, не удалось преодолеть той стадии развития личности, на которой дитя с интересом отрывает крылья мухам и бабочкам, расчленяет жуков и лягушек, мучает кошек, причиняет, бывает, боль и себе. Он навсегда остался маленьким дикарем, приносящим человеческие жертвы какому-то молоху и пляшущим перед ним, полосуя себя кремневым кинжалом. Такое складывается впечатление.

Что же послужило причиной этой задержки развития — падение с лошади, нравственные перенапряжения, тяжелая атмосфера в семье или органические аномалии мозга? — какое нам дело. Важно лишь то, что в психике Аркадий Голикова возникла некая атавистическая структура, которая удержала его развитие на стадии детской жестокости. И эта детскость навсегда сохранилась в выражении лица Аркадия Петровича. В детскости самой по себе ничего особенно страшного нет. Страшно лишь то, что в какой-то момент в руки ребенка попали пистолет и шашка, и власть над людьми, и подходящая к

случаю идеология. А в результате — и это трагично — Гайдар раздул в себе детское варварство до болезненно некрофильских размеров. Так что можно представить себе, каким ударом было для него лишение возможности свободно реализовывать свои смертоносные задатки. "Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь", — с грустью пишет он в "Автобиографии". Но его уволили в запас.

Разбитая чашка

Что было делать? Другой бы пошел подстергать с ножом ночью прохожих... Аркадий Голиков не стал Джеком Потрошителем, он стал Гайдаром. Он больше не убивал и не пытал людей, но он наполнил свои замечательные произведения смертью и кровопролитиями. Теперь он давал волю своим страшным наклонностям лишь на символическом уровне. Так, иногда лишь вбежит с пистолетом в столовую дома творчества (в Рузе), но никого не убьет, только пообещает... А в основном-то он книги писал. Самая первая книга его, "В дни поражений и побед", — автобиографическое описание зверств Гражданской войны. В следующем году выходит книга, зловещее название которой говорит само за себя — "Жизнь ни во что".

С годами болезнь как бы смягчается. Появляются произведения, где уже никто никого не убивает. Смерть только подразумевается. Таков рассказ "Голубая чашка", который (вместе со "Школой") Егор Гайдар назвал в интервью "Литературной газете" самым своим любимым произведением из всех, написанных дедом. Странный рассказ. Там дело происходит на даче. Жена героя уединяется с каким-то полярным летчиком, потом идет его провожать. Сам герой вместе с дочкой мастерит из бумаги вертушку и прилаживает ее на крыше. Вернувшаяся жена ругается, а наутро обвиняет мужа и дочь в том, что они разбили ее любимую голубую чашку, и, видимо обидевшись, уезжает в город. Рассказчик с дочерью отправляются путешествовать (все разговаривая о неизвестно кем разбитой чашке), но потом возвращаются, и в семье наступает примирение.

Замечательно то, что рассказ начинается с точного указания возраста героев: "Мне было тогда тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной". В дальнейшем выясняется, что когда они познакомились,

Марусе было 17. Значит, рассказчику тогда было 20 лет. Однако ведь именно в этом возрасте Аркадий Голиков стал писать свою первую повесть "В дни поражений и побед" и был окончательно уволен из армии. Это год крутого перелома в судьбе Голикова, который теперь превращается в Гайдара (хотя первую повесть публикует еще под старой фамилией). Эта дата наводит на мысль, что Маруся как-то связана с его болезнью, а быть может — и сама болезнь, уж больно она сурова: не позволяет даже играть с вертушкой, а не то что летать.

Действительно, Маруся "весь день после боя искала" героя. А нашла в лазарете, где он лежал раненый и ушибленный после падения с коня. Очень похоже на тот случай, из-за которого, как считают, у Голикова развился травматический невроз. Правда, места повреждения другие, и к тому же между ушибом и расцветом болезни прошел не один день. Но в сущности важно лишь то, что (как объяснили Гайдару) за ушибом приходит болезнь — "бледная" Маруся — и говорит: "Спи крепко. Я около тебя все дни буду". И с тех пор рассказчик и Маруся "уж всегда жили вместе".

Тут зашифровано то, что Гайдару известно о его болезни из объяснений врачей. Но в том-то и дело, что с Марусей он встретился раньше, чем был травмирован. Причем она явилась ему сперва в виде белой тени, а потом сразу в виде женщины, у которой "лица не видно, и только волосы на ветру развеваются". А у героя в руке, разумеется, наган. Но о нагане потом, а сейчас очень важно заметить, что писатель Гайдар в глубине души знает, что не в ушибе причина его психической болезни, что ушиб — только повод для того, чтобы болезнь его разыскала. "Травматический невроз" — просто первый попавшийся диагноз, который поставили медики, чтобы прикрыть удивительную даже по тем временам жестокость юного командира полка. А сама-то болезнь появилась еще до контузии. Появилась в виде девушки, описанной буквально как покойница. Любовь к покойнице так и должна называться — некрофилия.

Но кроме покойницы этой Маруси (так и слышится: "мру"), музы ранних некрофильских произведений Гайдара, в "Голубой чашке" есть и светлое пятно — дочка Света, которой исполнилось 6,5 лет. То есть она родилась, когда рассказчику было 25,5 лет и он уже 5,5 лет прожил с Марусей. Если принять за отправную точку 24-й год, когда Голиков стал Гайдаром, то

рождение Светы надо отнести где-то к 29-му году. Действительно, именно с этого времени в прозе Гайдара наблюдается некоторое просветление, болезнь как будто отпускает его. Я думаю, что это связано с тем, что к этому как раз времени он написал свою "Школу", то есть худо-бедно (не впрямую сознательно, а прикрывая суть дела символами) осмыслил свое прошлое, свою болезнь и таким образом оттолкнулся от нее. Произведения его становятся более человечными, он как будто обретает новую музу — вот эту девочку Светланку, музу детской литературы, заклиняющую своей песенкой стихию смерти, представляющуюся ей мышами "из черных дыр", разбившими голубую чашку ее матери.

Гайдар как симптом

Теперь уже ясно, что словом "гайдар" следует назвать часть души Голикова, которая была склонна к жестокости и изживала эту жестокость, создавая литературные произведения. Аркадий Петрович знал, что он болен, считал причиной своей болезни травму, но смутно догадывался, что причина болезни другая, да и другая болезнь. И вот эту другую, подлинную болезнь он стал рассматривать, выйдя из армии, как некий дар. В "Школе" этот дар представлен в виде отцовского маузера. А в момент, когда Голиков ощутил себя писателем, он назвал свой сомнительный литературный дар тюркским словом "гайдар", то есть — "идуший впереди, разведчик". Этот "гайдар" можно и по-русски понять: "гай" значит карканье, крик воронья, то есть — собственно смерть, которую герой "Голубой чашки" повстречал в Красной Армии ночью в виде безликой девушки, с которой он спознался, держа в руке наган (хоть и не маузер, а все же отеческий дар). "Гай-дар" — это символическое сочетание смерти и смертоносного оружия, при помощи которого так удобно осуществлять акты любви и смерти. Гай и дар — две составляющие некрофильского характера.

Если воспользоваться термином Фрейда, то можно сказать, что отцовский маузер — это "сверх-Я" Аркадия Петровича. То есть совокупность авторитарных влияний, входящих в душу человека еще в раннем детстве — причем не обязательно от физического отца. Я не знаю, каким был Петр Голиков, но в том, что в душе его сына вместо любящего отца запечатлен

маузер, сомневаться не приходится. Именно этот жестокий субъект стрелял в затылок хакасским заложникам, а позднее полосовал бритвой тело знаменитого детского писателя Аркадия Гайдара. Но тот же жестокий "отец" ("сверх-Я") вполне мог на странице книги обратиться и настоящим мужчиной — суперменом, полярным летчиком, с которым так интересно проводить время Марусе, пока ее муж — рассказчик, мальчишка — мастерит суррогат настоящего аэроплана, деревянную вертушку, а потом забирается на крышу, имитируя настоящий полет, чтобы привлечь к себе внимание окружающих — зажужжит вертушка, "будет и у нас тогда своя компания".

"Голубая чашка" написана с точки зрения заброшенного ребенка. И это, пожалуй, наилучшее описание болезненного "Я" Аркадия Голикова, пораженного любовью к мертвечине. Судя по тексту, жена рассказчика очень безжизненная, строгая, беспощадная женщина (но таковы же и все женщины в произведениях Гайдара). Круг ее интересов: скрипучий труд, садистское воспитание, беспочвенные обвинения, немотивированные поступки, мучающие близких, скандал как стихия (хотя все это и подано лишь намеком) и полярные летчики — северный холод! — настоящая Снежная королева. И естественно, в качестве символа такой безжизненной женщины выступает именно голубая чашка — "не живая", как заявляет сама Маруся, да еще и разбитая. "Я" ребенка-рассказчика разбить ее, конечно, не могло. Разбил ее летчик, он же "сверх-Я", появившееся "из черной дыры" в виде злой мыши с хвостом, разбита она очень давно, еще когда юный герой приветствовал наганом безликую девушку, неожиданно выросшую у него на пути "под луной". Эта девушка в дальнейшем будет играть роль суровой матери по отношению к "Я" рассказчика. Но ведь это намек на то, что и "Я" Гайдара всегда стремилось к подобным безжизненным женщинам и играло при них роль забитого сына.

Итак, теперь немного проясняется принципиальная схема работы "гайдарного" устройства. В нем есть недотепистое детское "Я", которое любит в бирюльки играть и которым надо руководить. В нем есть отцовский дар — страсть к убийству, воплощенная в оружии. И в нем есть идеал — смерть, воплощенная в женщине. Схематически можно сказать, что когда "Я", подначиваемое отеческим даром, устремляется к идеалу смерти, льется кровь (хотя бы только и в воображении писателя).

Но "сверх-Я" ревниво и жестоко наказывает некрофилитического эдипа за покушение на материнский идеал — Гайдар режется (это и есть "искупление", хотя и в несколько ином смысле, чем думает Камов). Однако в страшной жизни Гайдара случались и просветления. Это когда в процессе работы над книгой писателю удавалось коснуться простой истины: маузер разбивает чашку. Тогда полярный летчик в его душе совокупляется со смертью, а писательское "Я", оставшись без присмотра, резвится на свободе — гуляет со Светкой, пишет романтические книги, где никто никого не убивает...

Но это лишь временами. Вся атмосфера сталинской поры толкает писателя в объятия смерти. Ужасному "сверх-Я" той эпохи не нужны "сентиментальные путешествия", и Гайдар возвращается к своей безликой музе Марусе. Создает, например, нетленный образ пахана Тимура, который держит в страхе весь дачный поселок... Какой-то странной магической властью этот Тимур заставляет несчастных мальчишек работать на себя — на свой *авторитет*. Если смотреть непредвзято, перед нами типичная преступная группировка, опутанная невидимыми нитями зависимости от своего вожака. Впрочем, почему же — невидимыми? Тимурова команда повязана в повести вполне реальными веревками, приделанными к штурвальному колесу. Стоит только подергать, и все соберутся. Подлинные марионетки Тимура — еще одного воплощения гайдаровского "сверх-Я", магического отцовского маузера, который вел за собою Аркадия Петровича всю его жизнь. Воплощаясь в литературных героях, гайдарная субстанция зацепляла и начинала вести за собой в область смерти еще и читателей. Таким образом осуществлялось подлинное предназначение гайдарности — иваносусанинский вождизм. Последние слова человека подводят итог его деяниям на замле. Когда в 41-м году Гайдар напоролся на засаду, он вскочил во весь рост перед немецкими пулеметами и крикнул своим товарищам: "Вперед! За мной!" Но те почему-то не захотели идти за ним в смерть и спаслись.

Блаженное наследство

А теперь вопрос: не наследственна ли эта болезнь, этот дар? Имя Гайдар потомки унаследовали. Литературный дар —

как они это, кажется, думают — тоже. Ну а что касается самой "гайдарности", являющейся оборотной стороной этого дара (если не самим даром), то от нее, я думаю, Егор Тимурович Гайдар предпочел бы откреститься, хоть и любит поговорить о своих генах. Я бы не стал утверждать, что экономику нашу реформирует некрофил. Но вот Эрих Фромм считает: "весьма вероятно, что в развитии некрофилии существенную роль играет генетический фактор" и для объяснения того, как это возможно, выдвигает гипотезу "злокачественной инцестуальности", то есть — инцестуальной фиксации генетически предрасположенно к холодности ребенка на суровой злой матери.

Я не знаю, какие жены и матери бывают у реальных Гайдаров, но тот тип голубой и надтреснутой женственности, который мы можем извлечь из текстов Аркадия Петровича, должен весьма способствовать передаче некрофилии по наследству. Ну а уж какой ребенок наш вице-премьер — ясно видно по всем его фотографиям. Совершенно анальный тип. Так что: кажется — да, мы попали в страшные руки, и теперь реформа нам всем покажет, что такое настоящая гайдарность. Этот Гайдар не станет миндальничать, исполосует слабое тело больной экономики, а потом и пристрелит ее. Ведь "гайдар" же не может понять, что живому (а именно такова экономика, поскольку ее элементами являются люди) — и больно, и хочется жить. Ему интересно оторвать крылья мухе, отеческий маузер его толкает к материнскому идеалу...

Но только гайдарность сегодня выглядит немного иначе. Деструктивные склонности могут принимать разные формы. Вовсе не обязательно "расстреливать несчастных по темницам", чтобы быть законченным злодеем. Можно, например, повести дело так, чтобы без всякого маузера ограбить ни в чем не повинное население — отдать его на растерзание монопольным производителям и торговцам. Мне скажут, что иначе нельзя, это "шоковая терапия" такая. А я вам отвечу, что когда дед нашего вице-терапевта стегал плеткой ни в чем не повинных людей, а потом пускал им пулю в затылок — это тоже была "шоковая терапия". Это было "целесообразно". Надо было запугать население, деморализовать его, покончить с повстанцами, чтобы потом перейти к мирному строительству. И вдруг выясняется, что сам терапевт был больной и, потакая своей болезнью, злоупотреблял служебным положением.

Я, конечно, ни одной минуты не подозреваю Егора Гайдара в сознательных человеконенавистнических намерениях. Нет, его гайдарность идет из глубин бессознательного и проявляется в таких, например, странных для образованного экономиста действиях, как "либерализация цен", проведенная в условиях полной монополии товаропроизводителей. Гайдар утверждает: "Другого пути просто не было". Верно, другого пути к "русскому экономическому чуду" — то есть грядущей гиперинфляции, сочетающейся с полным отсутствием товаров в магазинах, — действительно нет. Но ведь это диковинное сочетание — и есть точное определение смерти организма экономики. Или вот: всякого нормального экономиста должны прежде всего заботить меры по "оживлению экономики". А Гайдара заботит исключительно "сбалансированный бюджет". Это что же за демон такой — "Сбалансированный бюджет"? А очень просто: это (в математическом смысле) предел, к которому стремится подтолкнуть нас правительство, урезая расходы на социальные программы и удушая деловую активность налогами. И уже добилось 20-типроцентного спада производства). Если удастся достигнуть этого идеального предела, произойдет социальный взрыв со всеми вытекающими отсюда смертоносными последствиями.

Чего же в конце концов добивается это правительство? Да того же, чего всякий "гайдар" — погибнуть самому и увести с собой в могилу как можно больше народу. В одном интервью Гайдар заявил: "Здесь мое, наше поражение не будет просто личной неудачей, оно может обернуться колоссальными трудностями для всей страны". Какая непосредственность! В контексте того, что мы теперь знаем о гайдарности, это звучит как программа: обернуть свою личную — и столь желанную! — неудачу "колоссальными трудностями для всей страны". И тогда — это "мое, наше поражение не будет просто личной неудачей". Оно будет удачей — некрофила.



**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ, БИЧУЮЩЕЕ МЭРА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА г-на СОБЧАКА И СТАВЯЩЕЕ ЕМУ В
ПРИМЕР ИСТИННОГО РОССИЙСКОГО ГЕРОЯ**



Россия! Дева молодая!
Ты настрадалась от ЧК
и вновь дрожишь, изнемогая
под тяжелой дланью Собчака.

Собчак! С величественной одой
к твоим стопам не припаду!
Ты святой град Петра распродал
голландцу, немцу и жиду!

Где честь российская, где слава,
Собчак, коснеющий во зле?
Но есть на дерзкого управа,
И есть возмездье на земле!

Не зря со всех телевизоров
Вечерней мрачною порой
Глядит бестрепетный Невзоров —
как богоизбранный герой.

Отрада и надежда наша!
Зри, восхищенный Петроград, —
что две звезды в небесной чаше,
глаза суровые горят.

Рази, воитель! Правды солнце
да иссушает на корню
спесь возомнившего чухонца
и либерала болтовню!

Вот он — в скрещенье телекамер,
дыша лишь праведным одним,
встает — и город славный замер,
готовый следовать за ним!



Бахыт Кеңжеев

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

Надо же, какое совпадение!.. А.Агеев начал свою статью со старого анекдота. И я тоже собираюсь начать свои заметки о посткоммунистической России с анекдота и тоже с довольно старого, эпохи распада колониальных империй. В Организацию Объединенных Наций было принято новое африканское государство. И президент так радовался, так радовался, что упал с дерева и сломал хвост.

Анекдот этот вспомнился мне где-то в декабре прошлого года, когда юное дарование, российский министр иностранных дел Андрей Козырев вышвыривал как кутенка из здания МИД СССР на Смоленской площади своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе, и с тех пор не выходит у меня из головы. Эпизод с Шеварднадзе (чтобы к нему больше не возвращаться) был обусловлен традиционно. Сей последний, хотя и вышел из КПСС раньше, чем Козырев, однако занимал в этой партии более высокие посты. А посему якобы проводил внешнюю политику по определению реакционную и насквозь идеологизированную (чего, впрочем, кроме Козырева и некоторых других сугубо заинтересованных российских политиков, никто не заметил). Наслушавшись разговоров о новой, сверхпрогрессивной (по сравнению с эпохой Горбачева и Шеварднадзе) российской внешней политике, я была несколько удивлена, когда на экране моего телевизора в программах советских новостей в свите Андрея Козырева возникло знакомое лицо Анатолия Добрынина, бывшего посла СССР в США, впоследствии начальника Международного отдела ЦК КПСС. Вскоре заместителем ми-

нистра иностранных дел Российской Федерации был назначен Борис Пастухов, занимавший при Брежневe пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.

Сегодня на территории бывшей одной шестой раздается много проклятий в адрес запрещенной КПСС и ейной номенклатуры. Особенно громко и настойчиво требуют суда над этой партией. Одновременно наблюдается полное торжество коммунистической морали, утверждение советского образа жизни, а главное — небывалый разгул социалистической законности... Я, по крайней мере, не знаю ни одного закона, принятого Верховным Советом РСФСР под руководством Ельцина, которого бы российские власти не нарушили, как только это показалось им удобным. Не говоря уже о том, как бывшие соратники по борьбе за демократию делили между собой "партийное имущество" — толкаясь и выдирая друг у друга из рта самые лакомые куски. И, кажется, ни одному из них не пришла в голову элементарная мысль: если КПСС приобрела свое имущество несправедливым путем, то не следует ли отдать его тем, кому это имущество принадлежало изначально? Покончив с имуществом партийным, новая власть (с переменным, впрочем, успехом) попыталась наложить руку на имущество других лиц и организаций: здание СЭВ, Академию народного хозяйства, Сандуновские бани, старое здание Московского университета на Моховой... Это не иначе, как в порядке перехода к рыночной экономике: чтобы больше было желающих вкладывать деньги в страну, где вот уже 75 лет власти беспрерывно грабят награбленное.

А затем началось самое интересное: реставрация коммунистических способов управления страной. При одновременном отказе от марксизма-ленинизма. Сначала при Президенте России был создан институт госсоветников, в чью задачу входит курировать и контролировать соответствующих министров, членов российского же правительства, не неся при этом никакой ответственности за результаты их (и своей собственной) деятельности. То есть заниматься тем же, чем занимались Секретари ЦК при проклятом коммунистическом режиме. Затем, не без серьезного сопротивления депутатского корпуса, были отменены выборы глав местной администрации. Всю власть на местах сегодня осуществляют чиновники, назначенные Контрольной комиссией при аппарате Президента, которых тот же аппарат может уволить в любой момент. За этими чинов-

никами надзирают представители Президента, назначенные там же на тех же основаниях. Это не мешает сегодняшним российским якобинцам сваливать все неудачи экономических реформ на саботаж местных властей, утверждая при этом, что вся власть в провинции находится в руках вредителей из числа старой партийной номенклатуры.

Одним из первых (и, пожалуй, самых важных) указов Ельцина в качестве президента России было запрещение заниматься политической деятельностью на работе — то есть создавать первичные партийные организации на территории госпредприятий. Вскоре после запрета КПСС движение "Демократическая Россия" заявило о своем намерении образовать на базе клубов избирателей, поддерживавших кандидатуру Ельцина во время выборов, "комитеты поддержки реформ". При этом было сразу заявлено, что представители политических партий и движений, не входящих в Демроссию, в комитеты допускаться не будут. Вскоре на очередном пленуме Демроссии было решено, что "комитеты содействия реформам" будут создаваться не только по месту жительства, но и на производстве, а финансироваться из государственного бюджета, то есть создали ту же структуру, что и у покойной КПСС. Тем не менее, пока что "Демократической России" не удалось стать правящей партией. Недавно Председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов заявил, что России нужна новая партия — "партия Президента". Похоже, что именно этой, "президентской" партии суждено стать не только правящей, но и единственной. Ибо в официальном документе, ответе за подписью Ельцина на самое первое решение конституционного суда России, главной опасностью для демократии было названо "стремление стать в оппозицию к законно избранному президенту России" и назначенному им правительству. (Как известно, всенародно избранные президенты попадают и за пределами России. Но где авторы процитированного выше документа видели демократическую власть без демократической же оппозиции? Не иначе, как в странах народной демократии, царствие ей небесное...)

Одновременно с высокой трибуны было заявлено, что российские журналисты занимаются "антигосударственной деятельностью", позволяя себе критиковать правительство и Верховный Совет республики. Были приняты меры, чтобы оную "антигосударственную деятельность" пресечь. За последние

полгода на российском телевидении, кажется, не было ни одной передачи, где бы российские руководители отвечали в прямом эфире на телефонные звонки избирателей, подобно тому, как это делалось при Горбачеве. После отставки Горбачева на российском телевидении вообще почти не бывает политических передач в прямом эфире. Информация, неприятная начальству, в программу теленовостей не попадает. Новости же состоят из грубой лести в адрес власть предержащих и холуйской иронии телекомментаторов в адрес любых альтернативных политических лидеров (включая почтенных академиков-либералов из нынешнего окружения Горбачева, ни один из которых ничего, кроме добра, никому из российских начальников не сделал).

Дальше — больше. Как известно, первый вице-премьер, он же главный госсекретарь России, Геннадий Бурбулис занимает в здании бывшего ЦК КПСС на Старой площади знаменитый кабинет № 2 — апартаменты, которые до Бурбулиса занимали главные идеологи компартии, в том числе М.А.Суслов и Е.К.Лигачев. Выясняется, что сидит Бурбулис там не зря. Оказывается, он при помощи человека по имени А.Кара-Мурза сочиняет новую государственную идеологию. Одну — на все 150 миллионов. (Бурбулис, который до своего стремительного взлета к вершинам власти преподавал марксизм в одном из технических вузов Свердловска, доселе не привлекал к себе внимания в качестве мыслителя, теоретика или хотя бы публициста. Известен более как человек, особо приближенный к императору.) Необходимость новой госидеологии была обоснована не где-нибудь, а в "Московских новостях" — газете, которая в свое время немало потрудились, чтобы избавить Россию от прежних госидеологов, Егора Лигачева и Вадима Медведева. Тем не менее, на страницах именно этого еженедельника Светлана Клишина пишет: "Посмотрите: ни один указ, ни одно решение правительства, ни одна экономическая концепция не обосновываются идеологически, не пропагандируются популярно, не подготавливаются к восприятию". Иными словами: сегодня по Руси шастают десятки тысяч безработных партийных пропагандистов. Они всю жизнь забивали гражданам мозги, выдавая черное за белое, и вполне готовы хоть с завтрашнего дня начать выдавать красное за зеленое!..

А намеренно встречался Бурбулис в своем кабинете с руководителями творческих союзов и Министерства культуры. И

выдавал им социальный заказ — держаться генеральной линии в свете последних решений... Ни один из мастеров культуры не запустил в Бурбулиса чернильницей. Наоборот, как сообщает ТАСС, мастера культуры восприняли указания с энтузиазмом. Не иначе, соскучились. Ведь они не были в этом кабинете по крайней мере с февраля 1990 года, когда была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Отсюда мораль: свобода, спущенная сверху, как незаработанные деньги, счастья не приносит. Даром получили — легко и отдают.

Итак, история повторяется. Пока что как фарс. Однако вскоре она может повториться как трагедия. В средствах массовой информации сегодня царит истерия, знакомая всякому, кто когда-либо изучал советские газеты за 1937 год. Интеллигенция требует суда над КПСС, российская же прокуратура одной рукой приторговывает служебной информацией за конвертируемую валюту (по 400 долларов за интервью), другой — усиленно возбуждает общественное мнение с целью грядущего суда над реформаторами — А.Н.Яковлевым и М.С.Горбачевым (по делу о финансировании зарубежных компартий). И очень успешно, надо отдать российским прокурорам должное, они это мнение разжигают. Похоже, публика в Москве и Санкт-Петербурге окончательно озверела. Не понятно только, почему они думают, что предстоящий суд над КПСС будет напоминать Нюрнбергский процесс, а не, скажем, суд над партией эсеров 1922 года? Прокуроры у них — не лучше Крыленко (тот, по крайней мере, информацию за доллары не продавал), законы у них те же — что дышло. И КГБ (или как там после серии переименований эта контора называется?) сегодня в России опять набирает невероятную силу. Что и не удивительно. Вспомним, после ареста Берия в 1953 году Хрущев поставил КГБ под *партийный* контроль, другого контроля над ним никогда не было. Нынче же КГБ от партийного контроля любезно избавили. А теперь представьте себе Нюрнбергский процесс, на котором судят нацистскую партию, а гестапо не судят!..

Говорят: повторенье — мать ученья. Истина эта иногда преломляется весьма причудливо. Так было у меня с последним тезисом сегодняшней российской антикоммунистической пропаганды: во всех бедах нашего народа виновата исключительно КПСС, но не вся партия, а только бывшие члены Политбюро и Секретари ЦК, а "рядовые коммунисты" (надо пони-

мать, вплоть до бывших кандидатов в члены Политбюро) ни в чем не виноваты. Раз, два, десять раз такое слушаешь спокойно. Но когда вышеозначенный тезис повторяют по сто раз на дню, поневоле задумаешься. Помнится, когда в 710 московской школе разбирали мое персональное дело об антисоветской агитации — так точно помню, ни одного члена Политбюро, ни Секретаря ЦК на этом комсомольском собрании не было. И среди тех, кто меня арестовывал в разные годы, тоже не было членов Политбюро, а вот за прокурора Евгения Лисова, который сегодня фабрикует дело на блестящего, умного и обаятельного человека Александра Николаевича Яковлева, не поручусь. Больно шустер прокурор Лисов. Такие всюду поспевают.

Сказать, что в сегодняшнем российском парламенте вообще нет настоящих демократов — значит взять грех на душу. Почему нет? Есть. Например, Сергей Адамович Ковалев — бывший политзаключенный, ныне председатель Комитета Верховного Совета России по правам человека. Но вот какое интересное совпадение: говорят, Ковалева отправляют в Женеву представлять Россию в Комиссии по правам человека в ООН. Потому что не Ковалева сегодня правят Россией. Россией правят бывшие "рядовые партии", которым в свое время по тем или иным причинам не обломился маршалский жезл. Эти люди блестяще овладели ленинской наукой захвата власти и сталинской школой расправы с собственной партией. Но что такое демократия, им знать не дано.

В России снова наступила эпоха великих переименований. Переименовали города, села, станции метро, комитет государственной безопасности — в агентство федеральной безопасности, коммунистов — в демократов... Как вы думаете, если улицу под названием Турик Коммунизма переименовать в бульвар Свободной России, то что из этого получится?



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРУ ОБРАЗЦОВУ, ЗАЩИТНИКУ БЕЛОГО ДОМА, ПО ПОВОДУ ЕГО НЕУМЕСТНОЙ ГУМАНОСТИ К ЧЛЕНАМ ГКЧП

Мой Петр! Не ты ли в поле брани
разил путчистов наповал?
Не ты ль в московской зябкой рани
трехцветный вымпел целовал?
Почто ж на родине свободной,
где мы справляем торжество,
неумолимый глас народный
не тронул слуха твоего?

Когда троцкисты нам вредили —
вовек мне это не забыть! —
мосты взрывали, хлеб гноили —
пытались Сталина убить —
от Украины до Сибири
восстал колхозник и рыбак,
восстал солдат — и истребили
проклятых бешеных собак!

Полвека с лишним миновало.
Но не убавилось врагов!
И се, лакеи капитала —
Янаев, Павлов и Крючков —
уже клянутся темным силам
сгубить Россию, нашу мать,
предать Бориса с Михаилом
и тело Ленина продать!

Мой Петр! Отчизны подвиг чистый
весь мир запомнит навсегда!
Боготропные путчисты
ждут справедливого суда.
Ты хочешь следовать закону?
В СССР гуманен он,
но для убийцы, для шпиона
какой же может быть закон?

Нет места им под русским солнцем!
Не осквернить им Мавзолей!
Не отдадим Курил японцам,
не отдадим родных полей
помещикам! Урок свободы
вовек не должно забывать.
Мой Петр! Ты слышишь глас народа,
единый возглас: расстрелять!



Г. Жаворонков

И СНИТСЯ НОЧЬЮ ДЕНЬ

То, что произошло с ней — для нас история. Для нее — жизнь, полная отчаяния. Она одна из многих, кого называли детьми врагов народа. Но пришел день, и это клеймо с них снято. С нее — нет. Она дочь железного сталинского наркома внутренних дел Ежова.

Из дневника: "Вот уже 49 лет, как я существую на земле под именем дочери врага народа. Чувство боли, которое я испытываю все эти годы — словами не передать. Это надо выстрадать, вынести, вытерпеть. Но надо еще и жить. И жить так, чтобы никто не заподозрил в тебе тех мук, которые ты терпишь. Надо жить как все: есть, ходить в кино, работать, улыбаться и, наконец, спокойно спать. Короче говоря, быть паяцем. Но никто, вероятно, не поймет, как это трудно — подчиняться общему ритму жизни, а в душе полвека носить в себе такую тяжелую болезнь, которая не поддается ни одному, даже самому сильному лекарству и которую нет возможности из себя выплеснуть."

Она давно уже не Наталья Ежова. Да и была она ею чуть больше пяти лет. По версии старой няни, ее настоящий отец — цыган, шофер по фамилии Кудрявый, погиб в автокатастрофе. Мать умерла от саркомы. Семимесячную Наташу удочерили бездетные супруги Ежовы. Может быть, все было и так. Но по утверждению наташиной тетки, — она внебрачная дочь Николая Ежова. Иначе чем объяснить, что из множества детей сиротского дома Ежов выбрал ее — самую слабую и самую болезненную.

Ее жизнь до шести лет – самая чудесная сказка из всех тех, которые она читала впоследствии. Дом в Мещерино, отдельная детская комната, полная игрушек. Домашний кинозал, мама, папа, няня, машина с очень веселым шофером Васей. Площадка для городков, для крокета, павлины, купальня, говорящий попугай. Поэт Маршак, любящий приходить в гости. Она думала, что так живут все. Потому что несметные богатства буржуев поделили поровну, и всем сразу стало хорошо. И все это сделал большой папин друг – Иосиф Сталин. Конечно же, так было у всех, ведь Наташа Ежова бывала в гостях на дачах Орджоникидзе, Молотова. У Светланы Молотовой была даже комната для кукол. В ней стояло шесть взрослых кроватей и в них отдыхали куклы в человеческий рост.

Из дневника: "По рассказам няни, в свои семь месяцев я была очень слаба, не держала голову. Вдобавок ко всему, тело мое было покрыто какими-то болячками. Я не плакала, а рычала... Немного отступления: сейчас, по прошествии стольких лет, я начинаю задумываться, почему вся родня с одной и другой стороны утверждает, что я не родная, а приемная дочь Н.И.Ежова. Допустим. Но почему же тогда на воспитание он взял меня, больную, рычащую? Что, там других не было? Я помню, как в детском доме в Пензе к нам приходили братья на воспитание. Так выбирали самых красивых, более или менее (по тем годам) здоровых. Выстраивали в ряд перед новыми "родителями" и те разглядывали нас, как лошадей, только что в рот не заглядывали... Вот этот вопрос с моим воспитанием и моими родителями – мучит меня до сих пор... Ладно, не будем отвлекаться. К году в новой семье с хорошим прикормом я, как говорят, вошла в силу и стала вполне приличным ребенком.

Отец занимал ответственный пост, и я его почти не видела. Зато когда он вырывался домой – что мы творили! Он подбрасывал меня к потолку, катал на спине, заваливал кучей игрушек. За день-два он узнавал обо мне все: сколько у меня зубов, что я люблю, что нет, как дела с занятиями музыкой (в четыре года меня усадили за фортепиано). Наконец, он притащил откуда-то в клетке говорящего попугая, который твердил "здравствуй", "прощай" и "пожалуйста". Потом отец опять исчезал на неопределенное время. Мама работала в редакции и тоже очень редко бывала дома.

Моим воспитанием занималась няня. Я была очень привязана к ней. Как-то ее отпустили погостить к себе в деревню. Утром, нигде не обнаружив своей любимицы, я не стала есть. Буквально все выплевывала изо рта и орала так, что за няней пришлось ехать.

В Мещерино под Москвой у родителей была дача, и мы с няней почти все время жили там. На первом этаже находился кинозал. Мама привозила каких-то людей, писателей, а может и коллег по работе, смотрели фильмы. Они были не очень интересными для меня. Как я теперь понимаю — документальные. Но были и художественные. Меня, как полагается, выпроваживали спать. Но спинки у кресел были очень высокими и иногда мне удавалось спрятаться за ними и посмотреть кино. Меня вылавливали, а попадало, как правило, моей милой няне.

Природа на даче была красивой. Особенно березовая аллея. Зимой к нам чаще всего приезжала мама. Она учила меня ходить на лыжах, и я стала убежать в рощу. Мама никакими уговорами не могла заставить меня идти домой. И только когда она говорила: "Ну и оставайся здесь одна, я уйду, пусть тебя цыгане унесут". Только тогда я возвращалась. Недалеко было озеро, там папа учил меня кататься на коньках.

Побыв на даче дня два-три, родители уезжали, и мы опять оставались с няней. Правда, с нами был еще повар, тетя Поля, брат и сестра (а может, муж и жена) Сычевы, которые вечерами собирались все вместе за столом и учили меня играть "в дурака". Сначала побаивались, что няня расскажет моим родителям. Но няня сама с удовольствием с нами играла, и все успокоились на этот счет.

И вот однажды мы так заигрались, что и не слышали, как подъехала машина, как в дверях показалась мама. Я с криком, как и все взрослые, бросала на стол карты и во все горло орала, что тетя Поля сейчас будет дурочкой и тогда отдаст мою конфету, которую сначала у меня выиграла. Стоял невообразимый шум. И вдруг няня тихо ойкнула, и все это сейчас же утихло. Наступила тревожная тишина.

Мама стояла в дверях очень бледная и сердитая. Она молча схватила меня в охапку и понесла наверх в детскую. Меня никогда не били, поэтому я совсем не испугалась. Мама посадила меня к себе на колени, зарылась лицом в мои кудряшки и заплакала. Я никогда не видела, как плачет мама, стала ее лас-

кать, целовать и, наконец, сама заревела.

Прибежала няня. Мама сказала мне: "Иди, ложись, я приду к тебе". Они вышли и, видно, долго еще говорили о чем-то с няней. О чем — я, конечно, не знала. Я очень долго ждала маму, но не дождавшись ее — уснула. А когда утром проснулась, няня сказала, что мама уже уехала в город.

Наступил 1938 год. Мы жили на даче. Долго никто к нам не приезжал. Из дома исчезла тетя Поля, Сычевы. И остались мы вдвоем с няней. Оставался еще и повар. И вот я спросила няню: "Почему к нам так долго не едет мама?" Она мне ответила, что мама в длительной командировке. Тогда я подумала немного и сказала: "Значит это была не моя мама. Моя мама всегда брала меня с собой..." Няня почему-то заплакала. Оказывается, мамы уже не было на свете. Позже я узнала о ее смерти из рассказа Евдокии Ивановны, сестры отца."

Рассказ Евдокии Ивановны: "Мать твоя, не сказать, что часто, но иногда лечилась. Сердце пошаливало, и нервы. Лечащий врач у нее хороший был, профессор. Случилось это осенью. Она позвонила и сказала: "Душь, приезжай за мной после обеда, часика в два, меня выписали". Коли не было, и воспользовавшись его машиной, я поехала. И что же я увидела: Женя лежит белее стенки, слова сказать не может и только глазами на тумбочку показывает. Там письмо лежало, распечатанное (значит прочла, думаю). Прочитала и я. Это была анонимка, в которой твою мать обвиняли в шпионаже. Она ведь была редактором, вся печать в ее руках была, все секреты новостроек и вообще, новости страны. И вот, якобы она о всех наших секретах передавала сведения за границу. Конечно, это была настоящая клевета. Надо было что-то делать. Я позвала сестру и сказала: "Почему не сделаете укол, разве не видите, что человек лишился дара речи?" Сестра ответила, что они уже пытались это сделать, но она никому не доверяет делать инъекцию, а профессора нет, но за ним уже ушла машина. Пока ждали профессора, в больницу приехала Зинаида Гавриловна. Мама написала ей на бумажке, что если она вдруг умрет, то пусть Зинаида Гавриловна попудрит ей нос... Дело в том, что когда твоя мать смеялась, то морщила нос, и от этого на нем были маленькие морщинки. Наконец приехал профессор, сделал укол, и мама уснула. Мне сказали, чтобы я ехала домой, и как только будет улучшение, позвонят по телефону. На следующий день позвонили из больни-

цы и сообщили, что мама умерла, так и не проснувшись... Я сразу позвонила Зинаиде Гавриловне (Орджоникидзе), и мы почти на одну минуту встретились с ней. Обе мы плакали и не знали, как сообщить об этом Коле. А потом ее предали кремации.”

Так при таинственных обстоятельствах умерет ее тридцатичетырехлетняя мать. Отец почему-то был в длительном отъезде. Узнав о случившемся, Ежов страшно метался, вероятно догадываясь об истинной причине смерти жены. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу: "Не успел, не успел!" Кто же опередил его, тогда еще всесильного сталинского наркома? Что это было? Мечь? Или первое суровое предупреждение того, кто действительно был в этой стране всесильным?

Шел 1938 год. Это еще был не конец. Жить Наташе под фамилией Ежова было отпущено еще два года...

Из дневника: "Прошел год, пошел второй. Мы с няней так и жили на даче. Папа почти перестал ездить к нам. Я уже настолько привыкла к этому, что и не замечала отсутствия родителей.

Пришла весна. Было совсем тепло. На даче был тенистый корт, крокетная, городошная площадки. Скучать не приходилось. Я довольно сносно играла в крокет. Для меня были сделаны специальные биты для игры в городки. Но в теннис я любила играть больше всего. Особенно хорошо было играть с поваром. Я терпеливо ждала, когда он кончит свои дела и возьмет ракетку. Если выигрывала я, то получала очень вкусную котлетку. А если выигрывал он — то требовал с меня... павлиньи перья. У него их было очень много, прямо целая коллекция. Павлины редко роняли перья, а еще реже раскрывали свои прекрасные хвосты. Поэтому мне ох как долго приходилось этого ждать. Я очень благодарна родителям (родным или не родным — какая разница) за то, что они привили мне любовь к спорту. Эту любовь я пронесла через половину своей жизни.

Итак, мы жили на даче. И вот однажды приехал папа. Он был какой-то странный, не такой, как всегда. Когда я бросилась к нему, не подхватил меня на руки, как прежде, не подкинул и даже не поцеловал... Он как-то рассеянно погладил меня по голове, и все. Они о чем-то долго говорили с няней, а я сто-

яла на крылечке и думала, что наверное папа заболел. Скорей бы он выздоровел! Потом ко мне вышла няня. Глаза у нее были красные, видно было, что она плакала. И я подумала: няня тоже заболела? Или ей жалко папу?

Потом все быстро изменилось. Тишина и покой были нарушены. Взрослые быстро стали грузить в машину вещи, и я услышала, как папа сказал, что мы срочно едем в Москву. Я даже обрадовалась. Правда, и с дачей было жалко расставаться.

В Москве у меня была подружка Нина Ръжова. Хоть она была и старше меня, но играла со мной, потому что больше ей играть было не с кем. Особенно запомнилось, как мы сидели с ней рядышком в кремлевском дворике, в укромном местечке, и она учила меня петь песню "Жили два друга в нашем полку..." Потом она умерла. Няня сказала, что когда арестовали ее папу, у Нины сжалось сердце. До сих пор не знаю, что это за болезнь...

Итак, мы уехали в Москву, на нашу кремлевскую квартиру. Больше в Мещерино я никогда не была.

Папа куда-то уехал надолго. Приехал он к моему дню рождения. Привез мне тогда в подарок часы марки "Титан" с перламутровым циферблатом. А через некоторое время началось такое! Такой круговорот, которого я, наверное, до конца дней не забуду."

Для Наташи Ежов был самым добрым человеком на свете. Для страны – самым страшным. Себе Сталин взял роль миротворца, роль палача он отдал Николаю Ивановичу. Сталина нужно было любить, Ежова – бояться. Позже этот отрезок времени народ назовет "ежовщиной".

Задумав сменить предыдущего наркома внутренних дел Генриха Ягodu, Сталин писал в своей телеграмме в Политбюро, что в вопросе борьбы с врагами народа ЦК безнадежно отстал на 3-4 года. Ежову было поручено ликвидировать это отставание. С поставленной задачей Николай Иванович справился вполне.

Авторское отступление. Я помню страшноватый рассказ Льва Кассиля на одном из семинаров в Литинституте. Какая-то тревожная ностальгия все время возвращала его, уже маститого писателя, в годы трагичной и веселой молодости. В журнале "Пионер" его познакомили с "дамой высшего света", опекавшей молодых литераторов. Та лестно отозвалась о его творче-

стве и пригласила к себе в гости. По легкомыслию, Кассиль даже не соизволил выяснить, кто она. Во время визита в шикарную московскую квартиру внезапно пришел муж светской дамы — Николай Ежов, невысокий человек с тихим монотонным голосом. Кассиль мысленно прощался с жизнью. Московская молва утверждала, что нарком стреляет внезапно, не вынимая рук из карманов. А тот нескончаемо долго показывал Кассилю многочисленные макеты яхт и кораблей, то ли сделанные им самим, то ли собранные в уникальную коллекцию. Провожая, нарком пригласил заходить в гости. Минуты, пережитые в компании Ежова, стали для Кассиля чуть ли не самыми страшными в жизни.

Из дневника: "Няню срочно отправили в деревню. Папы совсем не было видно. И я осталась со своей тетей "по матери" Фаней Филипповной. Я ее почему-то очень боялась. В тот день была сильная гроза, и вот появилась она, которую я совершенно не знала — поэтому это было страшно вдвойне. Я не шла к ней, кричала, забившись в угол, и она ничего не смогла со мной поделать. А потом она вдруг ушла. Просто ушла — и все. Я осталась одна. Гремел гром, сверкала молния, а я сидела в углу одна, зареванная. Вдруг в комнату зашла какая-то женщина, схватила меня за руку и повела на улицу. Мне было больно, но от растерянности и страха я даже забыла заплакать. Мы сели в машину и куда-то поехали.

И вот приехали в какой-то детский сад. (Это я узнала позже, так как вообще не знала, что такое — детский сад.) Так много детей я никогда не видела. А дети играли и пели: "Не скосить нас саблей острой..." Потом я с ними тоже играла в мяч. Вдруг стала замечать, что детей становится все меньше и меньше. Просто приходили родители и брали детей домой. Наконец я осталась посреди двора одна с мячом в руках. Подошла старая нянечка, повела меня в спальню, раздела и уложила в кровать. Потом села рядышком и стала рассказывать сказки. Но почему-то у нее — нет-нет — да и капали слезинки. А я думала — почему бабушка плачет? Ведь известно, что все сказки кончаются хорошо. Я еще не осознавала до конца — что же происходит. Бабушка меня почти убаюкала, как в спальню забежала та же женщина, что вывела меня из кремлевской квартиры, и сказала: "Быстро оденьте ее!" Меня одели и вывели на тем-

ную улицу. Мы опять сели в машину и поехали.

Я спросила тетю: "Как Вас зовут?" Она буркнула: "Тетя Нина". Я спросила: "Мы к папе едем, да?" Она очень сердито ответила: "Посиди и помолчи!"

Мне стало страшно. Я вспомнила, как давно мама пугала меня цыганами. И подумала, что меня, наверное, украли. Опять от страха я даже не могла заплакать. Приехали на вокзал. В купе мы с тетей Ниной были совсем одни. Утром она умыла меня, но не спросила, хочу ли я есть. Села напротив меня и сказала: "А сейчас, Наташа, ты должна запомнить свою новую фамилию и называть ее всем, кто тебя спросит. Поняла?"

Это сейчас я очень хорошо знаю свою фамилию, а тогда она ну просто никак не хотела запоминаться. Тетя Нина сердилась и кричала на меня, а я после ее вопроса: "Как твоя фамилия?" отвечала — Ежова.

Потом я не выдержала, и хотя очень боялась, все же сказала, что хочу есть. Ведь обо мне давно забыли, и я второй день была голодная. Тогда тетя Нина положила на столик два больших красных яблока и сказала: "Хорошо. Вот скажешь, как твоя фамилия — и яблоки твои". Но я опять ответила по-своему. Тогда тетя Нина больно ударила меня по губам. Но я не заплакала. Я обозлилась. Зверьком смотрела я на свою мучительницу и решила, что больше я не скажу ей ни единого слова. Я не знала, куда меня везут и зачем увезли из дома. Где мой папа, где няня? Ведь они, наверное, давно уже ищут меня!

Тетя Нина курила в коридоре, а я смотрела в окно, но ничего там не видела. Я думала, что если бы я была большая, я бы выбросила тетю Нину с поезда, чтоб такой злой тетке на свете не было! Но что я могла в шесть лет?! Только подчиняться и терпеть обиды. А за что?

Поезд пришел днем. Тетя Нина опять крепко схватила меня за руку, и мы вышли на грязный перрон. Кругом толпились люди, мешали идти чьи-то мешки и чемоданы. Вышли на маленькую площадь. Вещи быстро погрузили на какую-то телегу, в которую была запряжена хорошенькая лошадка. Дядя кучер, с которым я сидела рядом, сказал, что лошадь зовут Ларчик. Мы покатали по улицам.

Я не знала, куда мы приехали, куда едем, но уже ни о чем больше не спрашивала. Улица, на которой мы остановились, была вся в распутившихся деревьях и очень мне понравилась.

”Прямо как на даче”, — подумала я вслух, но тут же прикусила язык, так как тетя Нина зыркнула на меня, и у меня похолодело в животе.

Дом был одноэтажный с воротами. Около дома почему-то стоял народ и тихонько переговаривался. Из калитки вышла женщина, очень напомнившая мне нянечку... Мы вошли во двор, и нас сразу окружили дети. Все они были острижены, в трусиках и майках, поэтому трудно было понять, кто из них мальчик, а кто девочка. Они стали дергать меня за кудри и кричали: ”Барашка привезли, барашка привезли”.

Заведующая Татьяна Петровна спросила: ”Ну, здравствуй, девочка, как тебя зовут и как твоя фамилия, давай познакомимся...” Но тетя Нина не дала мне даже рта раскрыть. Она быстро сунула Татьяне Петровне бумаги и сказала ей что-то на ухо, потом заторопилась: ”Там все написано, а мне надо срочно возвращаться в Москву!” И она убежала. Я даже обрадовалась. На эту женщину я уже не могла смотреть без содрогания. И хотя я была очень мала — понимала, что она злой человек. Такое отношение ко мне было в новинку. Со мной никто никогда так не обращался. Татьяна Петровна отвела меня в сторону от детей и спросила: ”Ты, наверное, кушать хочешь?” Я сразу согласилась, закивала головой. Только сейчас я по-настоящему поняла, как же я хочу есть!

Она повела меня на кухню. Там стоял длинный выскобленный добела стол, а по обеим сторонам — скамейки. Тетя, которая там убирала, поставила передо мной бокал с компотом и дала французскую булочку. Я молча смотрела на этот стол, на еду, которую мне дали, и вдруг, наконец, поняла, что никогда уже не вернусь домой. Никогда-никогда не увижу папу и нянечку! А буду всегда жить здесь, есть за этим длинным столом и играть с этими лысыми детьми. С громким ревом я смахнула со стола все, что на нем стояло. Бросилась к дверям и сразу попала в объятия Татьяны Петровны. Она обняла меня, прижала к себе и сказала: ”Ничего, Наташенька, не все сразу. Привыкнешь. У нас здесь хорошо. А сейчас пойдем-ка ко мне домой”.

Жила Татьяна Петровна прямо здесь же, во дворе, только в другом корпусе. Дома она насильно заставила меня съесть бутерброд с маслом и напоила чаем. Я была так ошарашена, что мне даже есть расхотелось. Никогда не забуду эту добрую жен-

щину. Если бы не она... Весь месяц, что я прожила у нее, я была каким-то затравленным зверьком. Ни с кем не разговаривала, часами сидела у окна молча и, глотая слезы, смотрела на дорогу, а вдруг... Но ничего не случилось. Чудес на свете, видно, больше не было."

Чудес, действительно, больше не было, Ее никогда не вернут в дом с павлинами и попугаями. Ее увезут в другой детский дом в Пензе, потом в Лесную школу, словно бы пряча от кого-то... И все же через несколько лет ее найдет старая няня Марфа, нескончаемо обивавшая пороги высоких инстанций. Но будет уже поздно, ее кудрявая любимица превратится в стриженую злобную девочку, больше похожую на дикую кошку с зелеными глазами, не желающую уже признавать никого.

Из дневника: "Гуляем мы однажды в парке (иногда сами удирали, иногда и отпускали), и разыскала нас одна девочка. Запыхавшись, она подбежала ко мне и крикнула: "Наташка, скорей, тебя Фрида вызывает". Пока бежали в детский дом — думала: "Зачем?" Неужели не дадут окончить семилетку и отправят еще куда-то? Вроде бы не за что... Когда уже подбегали к детдому, девчонка сказала: "Наташ, я тебе неправду сказала, к тебе кто-то приехал". Я так и встала. Ко мне? Приехал? Да кто ко мне может приехать? Сказала девчонкам, чтоб заходили во двор, а сама в щелочку забора начала заглядывать.

Недалеко от забора на лавочке сидела женщина (для меня уже старушка) в аккуратном беленьком платочке в голубенький горошек. Возле скамейки стояла большая сумка, видно чем-то набитая. Кто же это? Мне было уже 14 лет, и я многое забыла. Вернее, чувство мое притупилось, я никого давно не ждала и примирилась со своей судьбой. Привыкла к мысли, что я такая же сирота, как и все. И вдруг ко мне приехали! Да, недаром меня звали дикарем. Вдоль нашего забора росла земляная груша. Она была довольно высокой, чтобы спрятать человека такого роста, как я. Пробравшись по забору сквозь эти заросли, я подошла к старушке сзади и положила ей руки на плечи. Как она встрепенулась! Вскочила, обняла меня, заплакала и все приговаривала: "Моя кудрявая, моя кудрявая". И при этом гладила мою лысую голову. Я же оставалась ко всему равнодушной. Меня не трогали ее ласки, не интересовало то,

что она мне привезла (кто она — я еще не узнала). Я больше всего гордилась тем, что ко мне приехали, а кто — неважно! Это у нас почти не случалось, потому что в основном все были круглые сироты. В отдалении от нас группами стояли ребяташки и с завистью смотрели на это "свидание"...

Фрида (директриса) отдала нам с няней (а это была она) на время свой кабинет. Но я наедине с ней оставаться совсем не желала. Все норовила убежать к подружкам, уйти с ними в парк, на речку, к черту на рога, но только не оставаться с нею. Я до того отвыкла от нее, что она была для меня совершенно чужим человеком. Вечером я просила у нее денег на кино. Говорила, что иду на 18.00, а сама шла на 20.00 (мне пока все разрешалось). И целых два часа до сеанса я с удовольствием слушала военный оркестр под управлением Акопяна, который играл в нашем парке перед началом фильма. Няня переживала за меня, ведь я приходила не в восемь часов, а в десять, а то и позже.

Искать меня она не могла, так как не знала, куда именно я пошла в кино, а я и не думала говорить ей. И злорадствовала... А девчонки с удовольствием выводили ее гулять, показывая наш парк. А я брела сзади или вообще сбегала под горку и оттуда, передвигаясь ползком, со злостью наблюдала за ними. Поистине, дикарь.

Как-то утром няня попросила меня показать, где находится рынок. Я ответила, что не знаю... И она ушла с девчонками... А ведь это была моя няня, моя любимая Марфа Григорьевна. Ведь я когда-то не могла и минуты без нее прожить. Если она отлучалась в деревню на 2-3 дня, я отказывалась от еды, ни с кем не разговаривала, часами просиживала в углу. Но разве это была она? Я ее не узнавала — она меня тоже. Она приходила от меня в ужас! Ни мольбы, ни слезы не могли меня заставить побыть с нею хоть несколько минут. Через неделю она уехала. А я... — а меня как будто подменили. Теперь я злилась, что она уехала, бросила меня, и за то, что гуляла не со мною, а с другими. А что же ей оставалось делать, если, как она выразилась, "ее Наташенька, ее любимица стала похожа на дикую кошку с глазами рыси". А я на это ее выражение мяукнула и спросила: "Похожа?" Няня сказала: "Неостроумно". И в который уж раз заплакала. Ведь она искала меня! Обила все пороги. Никто не говорил ей, куда меня увезли. Уже совсем отчаявшись, посту-

пила работать сиделкой в больницу. Однажды ночью женщине стало плохо. Ей сделали укол и попросили няню посидеть возле нее — вдруг что-то понадобится. Когда женщине полегчало — они разговорились. Оказалось, что эта больная — инспектор, распределитель детей по детским домам. На другой день ее муж принес адрес моего местонахождения...

Итак, няня уехала. Через неделю от нее пришло письмо: "Милая ты моя Наташенька! Ты не представляешь, какое горе ты мне принесла. Сколько лет я искала тебя, и вот нашла, но совсем не тебя, вернее, тебя, но не похожую. Что с тобой случилось? Почему ты такая стала? Я ведь ехала с одним намерением: взять тебя из детского дома и удочерить. Но не рискнула. Такою, как ты есть, ты раньше времени сведешь меня в могилу. Но ты все равно мне пиши. Я все понимаю, как искалечила тебя жизнь, как кончилось твое детство. Догадываюсь, что тебе пришлось нелегко, может быть, тебя даже били? Знаю, что в жалости ты не нуждаешься. Ты какая-то каменная стала. Но знай, я все равно жалею тебя и люблю по-прежнему. Мне сейчас очень тяжело. Твоя няня. Марфа Григорьевна."

Письмо было страшно безграмотным (няня вообще была почти безграмотной). Но письмо на меня не подействовало. Я ответила ей, но вложила в конверт ее же письмо с исправленными ошибками. Каким же деспотом я была!!

Конечно, я стану нормальным человеком, но до этого было еще ой как далеко!

В нашем детском доме был тогда такой порядок, закон что ли. ...Исполнилось тебе 14 — до свидания! Не имело значения, кончил ты семилетку или нет. Бывало (из-за войны, конечно), что ребенку 14, а он только 4 класса кончил. Таких пристраивали в швейные мастерские или отправляли в Никольск на стекольный завод. Нас, окончивших семилетку, отправляли в ремесленное училище. Всех-то приняли сразу, а со мной заминка вышла... Дней восемь или десять вызывали нас с воспитательницей в органы. Сидел там один тип по фамилии Коган и все орал изо дня в день одно и то же: "Как вы не понимаете! Ведь по окончании училища она пойдет на завод!" Я слушала и никак не могла понять, почему он так боится, что я буду работать на заводе? Я что, шпион что ли какой? Оказывается, все было опять-таки из-за отца. Наконец, меня все-таки приняли. Попала я в группу часовщиков-сборщиков. Номер

нашей группы был 13. Да и мы вполне соответствовали этому номеру. Почти как на подбор. Ох, что же мы и творили! У нас был совсем молодой мастер, мы в него все поголовно влюбились. Он просто не знал, куда от нас деться. Я донимала его больше всех.

Технологию сборки поняла быстро. Но притворялась, что не понимаю, и делала брак. Меня, ясно, ругали, но я делала все назло, лишь бы он обращал на меня больше внимания. Но однажды мастер не выдержал и прогнал меня с конвейера на глазах всего цеха. И что самое обидное, заявил, что в предстоящем концерте художественной самодеятельности я участвовать не буду. Мне было больше всего обидно за концерт, а не за то, что он вытурил меня при всех. Ведь в самодеятельности мы участвовали с ним вместе. Пришлось идти просить прощение. Но он даже слушать меня не захотел.”

Трудно даже представить себе, что она пережила. С самого начала ее презирали все, как только могли. И взрослые, и дети. Если в детский дом приходила комиссия из района или приезжало еще какое-нибудь начальство, ее демонстрировали как экспонат. Наряжали, показывали, как новогоднюю елку, а когда начальство удалялось, у нее отбирали игрушки и вещи. Она никак не могла забыть отца. Иногда ей удавалось достать его фотографию, которая в это время уже была запретной для всех, она прятала ее, чтобы остаться наедине, разговаривать с отцом. Фрида ловила ее, отбирала фотографию и рвала на мелкие кусочки. Наташа не оставалась в долгу. Она дралась, кусалась, за что получила еще одно прозвище – Волчонок.

Секрет ее родословной ни для кого не был секретом. Тюрьмой для графа Монте-Кристо был замок Иф. Тюрьмой для Наташи Ежовой была вся страна. На веки вечные. На всю оставшуюся жизнь.

Из дневника: ”В парке, где мы часто готовились к экзаменам, было много деревьев. Как-то я заметила на одном из них веревку. Видно, там когда-то висел гамак. Вот туда-то я и притащила пень, на котором в училище рубили дрова. Встала на него, быстро соорудила петлю (в голове не было ни единой мысли) — оттолкнулась и... веревка оборвалась. Я больно ударилась об землю, порвав платье и оцарапав колени. Только в этот мо-

мент до меня дошло, что я чуть не сделала. Я бросилась бежать от этого страшного места. Но со стороны училища тоже бежали... Попала в руки директора... Он схватил меня за веревку и, как козу, притащил к себе в кабинет. Там он швырнул меня на диван и, вытираясь огромным платком, еле слышно проговорил: "Наташка, ты понимаешь или нет, что ты задумала? А если бы... Ведь нас бы всех за тебя пересажали..." А я, уже почти успокоившись, думала: "О себе думают. Испугались... А если бы меня не было — им бы ведь все равно... Индюки..."

Вечером я с перевязанными коленками, с пластырем на лбу и подбитым глазом все-таки выступала на сцене. Рядом со мной выступал мой мастер, еще бледный, не совсем пришедший в себя после моего "покушения". Больше он никогда не выгонял меня из цеха. Прощал все. А я все равно назло ему "порола брак". А он боялся, как бы я еще чего не выкинула. Мне не хотелось работать, и все тут. Спасибо, что еще полдня была теория (мы в училище кончали и среднюю школу). Вторые полдня на заводе были для меня настоящим мучением.

Нет, не только злые гении окружали Наташу. Встречались в ее жизни и добрые ангелы. И один из них — Зинаида Орджоникидзе. О ее поступках рассказывают чудеса. Общительная и добрая при жизни мужа (а она, конечно, не могла не знать о причинах его самоубийства), после его смерти она занялась благотворительной деятельностью. Сталин не мог не знать об этом, но почему-то угрюмо прощал ей поступки, которые ему не нравились.

И один из таких поступков — помощь Наталье Ежовой. Самой Наташе было не по силам изменить (хоть как-то!) свою судьбу. Дано будет это право Зинаиде Орджоникидзе. Только с ее помощью Наташа получит комнату. Скорее только благодаря ей поступит в музыкальное училище. Если вспомнить, как Ежову не хотели принимать в ремесленное училище, то новый поворот в ее судьбе покажется чудом.

Из дневника: "Экзамены я сдала вроде бы нормально. И вот настал день, когда нам должны были объявить результаты. Ожидали везде: во дворе стояли группами будущие студенты, в зале девчонки сидели прямо на сцене. Все переговаривались, и это походило на потревоженный улей. Я сидела на подоконни-

ке возле кабинета директора. Вдруг кто-то крикнул: "Ребята! Списки вывесили!" Все помчались сломя голову искать себя в числе счастливиц. Некоторые тут же вырывались из толпы с потными лицами и злыми глазами. Это были "отверженные". Кто-то по-козлиному прыгал от счастья, хохотал, кто-то целовался... Я, подождав, пока схлынет толпа, спрыгнула с подоконника и уже хотела тоже бежать, как вдруг услышала позади себя: "А ты лучше туда и не беги, тебя там все равно нет..." У меня сразу опустились руки -

Я снова вернулась к подоконнику и стала смотреть в окно. Стало пусто-пусто. И только одна мысль, как заноза, застряла в голове: "Опять на завод!" Не знаю, сколько времени я так стояла, хлюпала носом и ворчала. Вдруг слышу: "Эх, ты! Я и не знал, что ты такая плакса. Беги, беги, ты там самая первая записана!"

Не помню, как я очутилась возле списков. Жадно искала свою фамилию. И вот она! Я принята! Ура! Вот что значит эгоизм, выраженный в поговорке "своя рубашка ближе к телу". Я даже не посочувствовала двум девчонкам, которые сидели в уголке и обнявшись плакали. И только на улице во мне заговорила совесть. Я бросилась назад к этим девчонкам: "Девочки, перестаньте. Вдруг кто-то раздумает учиться, и вам повезет. Только не уезжайте". (Они были иногородними.) "А разве так бывает?" — спросила одна из них. "Конечно, бывает!" — заверила я ее, хотя сама об этом ничего не знала. Но продолжила: "Вот первого сентября все соберутся, проверят по спискам и... вдруг кого-то не окажется". Я прямо на ходу все это выдумала, чтобы только успокоить их. И что же вы думаете? Так оно и вышло. Правда, повезло только одной из них, но и это прекрасно!

Когда мы с училищем в 1957 году были в Москве, меня пригласила к себе Зинаида Гавриловна Орджоникидзе. Показала кабинет Серго, его бюст. Она готовила материалы к печати, хотела сделать квартиру музеем. В кабинете было все в таком же порядке, как при муже. Но она так и не успела открыть музей. В 1960 году ее не стало... Анна Лазаревна, которая находилась с ней до последней минуты, прислала мне письмо о ее кончине. На конверте был адрес: Москва, улица Грановского, 3.

Училище я закончила. А вот на выпускной вечер не попала. Заболела. Было до слез обидно! Просидела с ребятами бок

о бок четыре года, делила с ними и горе и радость, и вдруг — такое невезенье...”

В еще один счастливый поворот судьбы Наташа не верила. Она понимала, что ничего не забыто, что все помнится. Массовая реабилитация, прокатившаяся по стране в хрущевское время оттепели, ее никак не касалась. Поэтому одна и та же мысль подталкивала ее ежедневно: бежать, бежать и бежать как можно дальше.

Она по-прежнему была в этой жизни одна. Сотни, тысячи глаз следили за каждым ее шагом. Для них она по-прежнему была дочерью железного наркома, а значит и виновной за ужасы ежовщины.

При распределении Наташа попросилась на Север, в самые глухие места.

Из дневника: “Распределение я получила на Север, в Магадан. Девятого августа 1958 года была на месте. Поселили меня в музыкальной школе. В управлении сказали: “У нас один педагог должен пойти в армию. Если его возьмут, вы останетесь здесь, будете работать в этой школе, а если он не пройдет комиссию военкомата — то мы отправим вас в самый лучший поселок. В армию этого педагога не взяли — подвело зрение. И действительно, меня направили в самый лучший поселок — Ягодное.

Ягод там, действительно, много: и брусника, и голубика, и смородина, и малина, и огненно-красный шиповник. Совсем не верилось, что, как пишут в учебниках, здесь чуть ли не зона вечной мерзлоты. Автобус подкатил к невзрачному зданию, на котором висела вывеска “Автовокзал”. Вышла из автобуса и, признаться, мне стало страшно. Куда попала, где буду жить? И как? Сообщила по телефону начальству о своем приезде. Скоро за мной пришла машина. Шофер, совсем еще молоденький паренек, увидев мое подавленное настроение, подбадривал: “Да вы не унывайте! У нас здесь хорошо! Дом культуры хороший, танцы каждый день. Начальник наш добрый, слова грубого от него не услышишь. Сказал мне, чтобы я вас сначала к нему привез, отдохнете с дороги, а потом доставим вас в гостиницу. Место вам забронировано”.

Подъехали к двухэтажному дому. Встретила меня жена

начальника, Мария Павловна. Сразу же пригласила меня к обеду, а потом предложила отдохнуть на диване. Но я поблагодарила ее и поехала в гостиницу. Так я прибыла на север, к месту моего назначения...

На другой день после приезда в Ягодное мне вдруг принесли повестку, к 10.00 явиться в КГБ...

Пропуск выписали быстро. Подполковник Жалков прямо схватил меня в свои объятия. Я страшно испугалась. А он гремел на весь кабинет: "Здравствуйте! Да вы не волнуйтесь! Ну вылитый Николай Иванович! Я ведь лет двадцать назад вот так же стоял рядом с ним, как сейчас с вами. Воевали мы с ним..."

Я спросила: "Откуда вам известно, кто я и чья дочь?" Он сказал: "О, вы еще из Пензы не выехали, а нам уже сообщили, что вы скоро сюда приедете. Скажу сразу, здесь очень много людей сидит по "его делу", так что вам сразу надо завоевать доверие и иметь хороший авторитет..."

После этой "бурной" встречи у меня совсем испортилось настроение. Я-то думала, что уехав на край света, избавлюсь от таких вопросов и напоминаний, как это было в Пензе. Ну ладно, там я выросла, там меня почти все знали. А уж здесь-то! Оказывается, и здесь узнали... Надо было идти в отдел и заполнять анкеты и всякие бумажки."

И на самом краю света "кто надо" опять оказался с ней рядышком. Даже ее новый дом был всего-навсего стеклянной банкой, проглядываемой недремлющим оком.

Чего они боялись – ее или за нее? Ее мести или мести ей? Да полноте, кто бы мстил Наташе в нашей ни за что не мстящей стране, и за что?

Была у нее здесь и любовь – с полетами в небесах и забвением. Целых две недели, до той самой минуты, пока не узнала, что любимый ею человек женат. И здесь ей досталось счастье только "с чужого стола". В 1959 году у Наташи родится дочь Женя, и она вернется в Пензу.

Из дневника: "В Пензе под бронью была комната. Стали с Женькой жить. Трудно было с детским садиком, но и здесь помогла мне моя старенькая заведующая нашим детским домом Татьяна Петровна. Садик был круглосуточный. Только в суб-

боту и воскресенья я брала дочку домой. Она совсем отвыкала от меня за неделю и даже стала звать меня на "вы". Потом, конечно, все уладилось. Сама устроилась в военном городке. Два с половиной года работала спокойно, а потом чувствую — не могу! Хочу на Север! Да еще получила письмо о том, что скоро будет суд. Только теперь я поняла, почему он не смог уйти из семьи к нам с Женькой. Он боялся! Его жена все знала о его делах, он от нее был зависим. Потом получила еще одно письмо и вырезку из газеты. Заголовок кричал: "Расхитителей золота — к расстрелу!"

Я со страхом читала газету. Какими деньгами ворочали эти люди! В разных городах имели по несколько сберегательных книжек на огромные суммы. Я, правда, никогда не говорила отцу Жени о своих финансовых затруднениях, но никогда не брала у него и копейки.

Из 62 человек шестерых приговорили к расстрелу. И фамилия отца Жени — среди них. Вот уж поистине везет мне на преступников!

Бедная моя Женька! Что я скажу ей, когда она вырастет? Врать? Изворачиваться? Ссылаться на то, что не состояла с ним в браке? Нет. Вырастет — узнает правду. Пусть горькую, но честную...

Уже позже, когда вернулась на Север, пошла в сельсовет. Попросила показать акт о смерти. Сказали — не положено. На коленях умоляла, клялась, что никто не узнает, что я здесь была. И увидела (показали все-таки) — 11 октября 1962 года приговор приведен в исполнение.

Вот и все. Вот и нет его и никогда не будет. Терзала мысль: почему ни разу не поделился? Ведь замечала, что что-то мучает его. Может, признание и облегчило бы его участь? Нет. Не сказал. А может, не хотел впутывать нас в свои дела. Видно, не один год тянулась эта ниточка, и вот, оборвалась. Что ж, надо жить, растить Женьку.

В Ягодном остаться не могла. Слишком тяжело было каждый день ходить мимо дома, в котором пусть и не долго, мне было хорошо.

Уехала на прииск имени Горького. Дикая тоска, несправедливость жизни угнетали меня с каждым днем все больше и больше. Стала прикладываться к спиртному..."

Ей казалось, что она взлетает, как тогда, в далеком детстве. А она падала. Стремительно, катастрофично. Не найдя дороги к собственному счастью, она попыталась заменить его "сном золотым". Ища истину в вине, она все еще ощущала себя дочерью Ежова, на которую все смотрят как на лишнего человека на земле, которую почему-то грехи отцов не загнали еще в могилу. А для всех она давно уже была просто Наташа, хороший человек, сделавший для людей уже очень много доброго.

Ее пытались удержать от падения, уговаривали, ругали, отвлекали. Все было напрасно. И в добре, и в зле она была человеком безудержным, отчаянным, сильным. Пустые слова, что самоубийство – оружие слабых. Только очень сильные люди не боятся смерти. Но и только очень сильные люди способны сами остановиться на краю пропасти, отойти и найти в себе мужество жить дальше.

Наташа вышла. Она перестала вызывать золотые сны, перестала жить иллюзиями и вернулась в реальность.

Ее наезды на "материк" редки и спонтанны. Со всем этим ее связывают только воспоминания. Почти ссылка, земля изгнания давно уже стала домом, вне которого не мыслится дальнейшая жизнь.

Конечно же, она может вернуться в Москву или Пермь, хотя ни там, ни там у нее уже нет и квадратного метра площади. Она может вернуться и потребовать хоть что-то из того, что когда-то отняли.

Одного она не может вернуть никогда – фамилии. Ей этого не дано. Вдруг кто-то поймет это как попытку реабилитации ежовщины, как надругательство над миллионами репрессированных.

Из дневника: "Да, жизнь продолжается. Течет, бежит, мчится. Правда, не такая интересная, как раньше, но радость от того, что живешь – главное. Давно уже меня никуда не вызывают, не проверяют. И в Москве много раз была – уже никого не интересуется: зачем, насколько и когда вернусь. Вроде бы утряслось к закату жизни... ан, нет. Началась гласность. И столько я про своего отца узнала, сколько за всю свою жизнь не ведала... Но никто мне не запретит не верить всему, что о нем пишут. Мой архив – моя память. Пусть малая, но чистая и моя. Остальные как хотят думают. А оказались бы они на моем месте – это

было бы очень интересно. Многие, правда, отреклись от своих родителей, верили, что они враги и опозорили их жизнь. Я от отца не отрекись, даже от неродного...”

Такая вот судьба, такое вот счастье к концу жизни. Муж, дочь, внуки. А днем ждется ночи, чтобы хоть во сне увидеть дом, павлинов, услышать говорящего попугая. А ночью снится ей день – тревожный, полный сомнения, в котором можно только выживать, а не жить.

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, юность и вот такую старость...



**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ТИМУРУ КИБИРОВУ,
ВОЗРАЖАЮЩЕЕ ПРОТИВ ВЫНОСА ТЕЛА г-на В.И.ЛЕНИНА
ИЗ ОРДЕНА ЛЕНИНА МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА ИМЕНИ ЛЕНИНА**

Тимур! Ты помнишь роковые часы, когда под вьюги свист скончался лучший сын России и самый честный коммунист? С каким отчаяньем во взорах рыдали жены всей земли, когда в Москву его из Горок на скорбном поезде везли!

О, как решительно и смело мы поклялись в тот черный час, что Ленина святое тело отчизна тленью не отдаст! Шли дни, гремели юбилеи, коварный враг нам жить мешал, а вождь в гранитном Мавзолее покой торжественный вкушал.

Как символ нашей главной цели, лежал в гробу хрустальном он, и в сладком трепете доселе к нему приходят на поклон. Ужель, подобно скифам диким, мы надругаемся над ним, таким таинственным, великим, одушевленным и родным!

Отнюдь! Идейным погорельцам не обратить отчизну вспять! Ужель пустое имя "Ельцин" в восторге рабском повторять? В чреде грядущих поколений мы не забудем никогда, что нам сияет имя Ленин – как путеводная звезда!

Бахыт Кенжеев



Г. Померанц

ВОПЛЬ К БОГУ

1. Как пришла эта тема

Я натолкнулся на философию, которая мне не понравилась: Россия — большая страна, и проблемы России — тоже большие; а евреев или узбеков немного, и их проблемы — маленькие. Что было противопоставить этому? Что иные малые народы оставили очень глубокий след в истории? Но я ни к какому народу не принадлежу, и мне хотелось отстаивать не малые народы против больших, а что-то другое, поближе к складу моего духа.

Где моя почва? Можно ли жить без почвы? Все ли евреи — люди без почвы? Нет, ортодоксальный еврей носит почву в кармане: это его молитвенник. Но еврей ассимилированный... Что может внести в мир человек без почвы, без корней? И самое святое, и самое грешное (мало ли какие ветры веют и подхватывают перекасти-поле). Искусство различать духов далось немногим; обывденный человек держится примет, предания, — а свободный ум? Вырвавшийся из одной почвы и не укоренившийся в другой? Не слишком ли он открыт искушениям? Не в этом ли причина смутного страха перед бродягой, видевшим слишком много разных обычаев? И перед народами-бродягами? У них, может быть, есть свое предание; но по отношению к нашему, к нашей земле, — они нигилисты.

До "Круга" мне много раз тыкали на мое еврейство, но я был убежден, что все это либо невежество, либо политическая игра. Т.е. скорее отсутствие блага, чем бытийственное зло.

Было бы благо (хорошо устроенное общество), а все остальное приложится. Задним числом понимаю, что все еще жила во мне вера в возможность общества без дьявола, играющего на наших страстях. В том числе национальных. "Круг" впервые показал мне глубину национальных расхождений, — даже в интеллигенции, на которую я рассчитывал в борьбе с предрассудками. Бросилось в глаза убеждение автора, что русский должен быть русским (и только) а еврей — евреем. Мне не хотелось ни того, ни другого. Я хотел оставаться беспочвенным. Случайно ли, что апофеоз беспочвенности написал Шестов (Шварцман)? Но ведь не только евреи теряют почву. Все почти герои Достоевского беспочвенны. Потому они и ищут почву. Проблема почвы возникает только от беспочвенности. У дерева, пускающего корни в глубину, нет философии почвенничества.

Впрочем, пробудившийся дух всегда беспочвенный. Раджнеш нашел для этого хороший образ: деревья с корнями в небе. Почва — льдина на реке времен. Перед лицом вечности это сон, майя, сансара. Явь — только бездна. То есть беспочвенность. Из этой бездны, из этой беспочвенной почвы выросли все религии.

Тут возникает тысяча вопросов, на которые я не всегда способен ответить. Я не против сна и не против образов сна. Пробужденных всегда немного, целый народ нельзя пробудить; а спросонок люди мечутся, буйствуют — и успокаиваются, когда снова заснут. Но мне не хочется засыпать. Мне хочется до конца проснуться и увидеть Бога мимо всех идей о Боге.

Меня спросят: и мимо Христа? Отчего же мимо? Христос — не идея, Он живой, и Бог в нем — как в сосне, только до конца осознанно. Как и в других просветленных. Их немного, но они были и есть, и дай Бог не пройти мимо, если встречу. Я сомневаюсь не в них, а в словах, записанных за ними. Ибо буква мертва — только дух животворит. Христос говорил: Я есмь дверь, то есть звал пройти *сквозь* Него.

Я хочу понять разные предания, как рассказы о встречах с одним и тем же духом. Почему этот дух воплотился у евреев не так, как у всех остальных? Почему вера маленького народа захватила все Средиземноморье? Почему в Индии и Китае развитие пошло иначе? Не связан ли монотеизм с рассеянием (диаспорой), с оторванностью от земли и богов земли? Т.е. с беспочвенностью? Той самой, которая толкает к апока-

липтике, хилизму, утопии, революции? Не был ли монотеизм первой в истории революцией, за которой пошли все другие?

Так пришел ко мне образ диаспоры — малого, но духовно равноправного партнера всех народов земли. Эта тема проходит красной нитью через "Человека воздуха", но там — только о современности. А мои мысли шли дальше. И вот как нарочно подоспел новый толчок: заказ на книгу под условным названием "Жребий богов" (которое мы тут же переменили на "Образы и идолы"), для издательства "Детская литература". После двух лет работы и прекрасных рецензий издание зарубил Институт научного атеизма. Но текст остался, и я приведу из него несколько страниц. С маленьким пояснением: главу о религии древних евреев писала Зина, и может быть именно она, ее манера подхватывать поэтические легенды вызвала мою реплику, которую я решил обнародовать в книге для детей (не все ли равно, где?). Сперва идет зинин пересказ мусульманского предания об Аврааме, а потом моя вставка:

"О легендарном праотце монотеизма Аврааме (которого два народа, евреи и арабы, считают своим родоначальником), сохранилось такое предание: однажды, взглядевшись в звезду, пораженный ее красотой, Авраам воскликнул: вот Бог мой! Но взошла Луна и затмила звезду, и Авраам Луну назвал богом. Когда взошло Солнце и не стало Луны, он поклонился Солнцу, сильнейшему и прекраснейшему. Но Солнце тоже зашло, и тогда Авраам понял, что ничему видимому не будет поклоняться. Если обожествить каждый отдельный предмет, предметы столкнутся между собой в споре о первенстве. Есть нечто более важное, чем каждый из них в отдельности — их связь, единство законов жизни, сверкающий, как молния, невидимый смысл всего видимого".

Здесь текст Зины кончается и начинается мой; хотя в конце, в словах и живом соке, я снова вижу ее руку:

"Такова поэтическая легенда о возникновении монотеизма. Ученый построил бы более сложную конструкцию. С его точки зрения, путь к монотеизму был гораздо более сложным и трудным. Вера в "того, который наверху", в туманный образ творца мира, есть у многих племен¹, но она смешивается у

¹ Я забыл точные цифры, но примерно среди 105 из 200 хорошо исследованных племен.

них с верой в других небожителей, пониже. Так было, по-видимому, и у древнейших евреев. Остальное доделала история, — то, что в Библии называется "египетским рабством", "вавилонским пленом" и т.д. Начиная со II-го тысячелетия до н.э. судьба несколько раз забрасывала группы евреев далеко от родной земли. На новых местах боги земли были чужие — вавилонские, египетские. Покориться им — значило отдать победителю не только тело, но и душу. А свои местные боги до чужбины не доставали. Они были связаны с полями и горами, оставшимися позади, в земле отцов; и люди, теряя землю, вместе с ней теряли часть своих святынь. Живым и действующим оставался только "тот, который наверху". Можно предполагать, что именно обстановка изгнания сделала туманного, невидимого верховного бога таким интимно близким, единственно близким евреям. Ухватившись за эту уцелевшую национальную святыню, развивая и очищая ее, пророки возвысили племя в его собственных глазах, внушая ему веру в свое превосходство над великими цивилизациями древности, дали силу выстоять. В неравной борьбе с империями Средиземноморья постепенно утвердился образ единственного, самодержавного, всемогущего бога, не имеющего никаких соперников (только на такого бога мог надеяться народ, неоднократно отрываемый от земли и богов земли). Путь от племенной религии к последовательному монотеизму, религии единого бога и единого человечества, был очень долгим, исторически сложным, противоречивым. В Китае и Индии он так и не был завершен. Там выработались иные формы религиозного сознания¹. Но чисто логически становление монотеизма просто и естественно — не менее, чем становление политеизма. Если избрать символом примитивной (племенной) культуры шаманское "мировое дерево", то можно сказать, что это дерево греки и другие народы Средиземноморья увидели как множество ветвей и листьев, прекрасных, пахучих, осязаемых — и не связанных друг с другом. Древние евреи пронесли и развили противоположную идею — единого ствола, мирового стержня. Их бог — миродержец. Он же и "дух, веющий над водами", не только и не столько ствол, сколько (если развить тот же образ) сок дерева, делающий и ствол, и ветви живыми. Он смысл предметов, одухотворяю-

¹ По ту сторону дихотомии "язычество — единобожие".

щий их. Представить его предметом – значит убить его, сделать из бесконечного, не имеющего очертаний – конечным, очерченным. Такая тенденция окончить бесконечность была очень сильна у всех народов, в том числе и у еврейского. Но библейские пророки ведут с этой тенденцией яростную борьбу” (глава 3, “Сущий”, раздел 2, “Образ не имеющего образа”).

Перечитывая и переписывая этот отрывок, я сделал только два примечания. Все остальное и сейчас, через пятнадцать лет, кажется мне верно схваченным. Но прибавилось несколько новых фактов и новых проблем. Первая, самая важная проблема (которую нельзя было поставить в детской книге): можно ли объяснить происхождение монотеизма чисто естественным образом?..

Во всяком религиозном развитии непременно есть что-то необъяснимое. Да и не только в религиозном. Начиная с происхождения жизни... Был первобытный океан, теплый, с какими-то комками слизи, способными принять искру жизни, но откуда взялась эта искра, этот сдвиг от химии к биологии? А потом – что превратило обезьяноподобные существа в людей? Австралопитеки миллионы лет пользовались грубо обделанными камнями и не менялись; почему началось движение в сторону ничтожно малой вероятности, которое называют процессом очеловечения?

Какой-то дух незримо участвует в развитии и временами чуть-чуть прикасается к плоти, направляя ее от студня к жизни и от зверя к богу. Такое прикосновение чувствуется и в Библии. Но нужна и плоть, способная принять искру духа; и это, сплошь и рядом; болезненная, неправильная, неустойчивая плоть. “Не такая, как надо”. Ибо то, что хорошо сложилось, плохо поддается изменениям... Эту сторону дела я очень остро почувствовал и высказал примерно в 1971 году, вдумываясь заново в Достоевского, и поместил свои размышления в эссе “Неуловимый образ”:

“Гуманизм не знает ни греха, ни Бога, и не знает древнееврейских (и средневековых) комплексов и неврозот от неспособности дотянуться до своей божественной мерки. Гуманисты греки были здоровые люди. Они не стыдились наготы и предавались радостям плоти (и лесбийской, и дорической; а Диоген и онанизму) без внутренней расколотости, под ясным солнечным небом. Половые извращения стали бытом, даже

среди новообращенных христиан, из язычников (ср. апостольские послания Петра и Павла). Потом, в период Ренессанса, вместе с возрождением изящных искусств, содомия тоже возродилась и пережила второй расцвет (третий – в наши дни); а просвещенный король Фридрих II положил на дело о скотоложестве резолюцию: "В моем государстве существует свобода верить и ... (глагол)".

В древнем Средиземноморье сама религия была гуманистической. Тогда, – как говорил Шиллер, – боги были человечнее и люди божественнее. В Египте, во время великого праздника, девушка на площади отдавалась козлу. У греков были вакханалии. Острый стыд, испытываемый при этом Иосифом (о котором напомнил роман Томаса Манна), чувство мерзости перед господом нельзя, видимо, расценить иначе, как социальную патологию.

Когда семеро говорят – пьян, ложись в постель. Норма есть норма, нечто среднестатистическое, и то, что от нее отступает, – безумие. Когда все языцы покоряются вавилонской власти, безумные пророки, обличающие блудницу... Когда все языцы признавали власть Эроса, безумием было искать очищения от плотского греха. Это национальное безумие заразило гниющую римскую империю, стало вселенским, дотянулось до рыцарей, сшедших с ума от любви к святой деве, и до плясок смерти.

Потом наступил величественный восход солнца. Разум вззошел на свой престол и установил, что константинов дар (а заодно и Дионисий Ареопагит) подложны. Гуманизм разделил на этажи "души готической рассудочную пропасть", и начался новый расцвет искусства. Но, странное дело, он оказался очень недолгим... Сама жизнь постепенно начала иссякать, и герои экзистенциальной прозы, подобно Николаю Всеволодовичу Ставрогину, то хотят доброго дела, и испытывают от этого удовольствие, то злого, и опять испытывают удовольствие, но как-то все вяло, без воодушевления, и чем дальше, тем более вяло, и тем больше хочется удавиться. И вот тут, с отчаяния, люди стали ненавидеть солнце и бросились в объятия ночи, "романтической идеологии", веры.

Бог и грех неразделимы. В бездне Бога открывается взгляд на бездну греха. А в бездне греха рождается тоска по Богу. Чувство жизни, которое раскрывает Достоевский, –

именно это. Древний грек с отвращением назвал бы его еврейским.

В русской культуре есть "эллинский", языческий пласт. Его выразил (вопреки своему головному христианству) Толстой. Выразил в Ерошке, в Наташе Ростовой. Они, конечно, не гуманисты в книжном смысле этого слова. Но если бы Наташа Ростова удостоила быть умной, она была бы умной гуманистически. И все гуманисты любят Наташу Ростову.

...Гуманисты просто хотят забыть темное наследство, отвернуться от него, как молодой офицер от солдата, кричащего под розгами (в романе "Война и мир"). Они хотят видеть русское раздолье — и не видеть русской духоты, не помнить наследственного греха, глубокого, закоренелого, вопиющего. Они не любят, когда им разрывают душу и показывают следы насилий и погромов, рабства и холуйства. Их гуманизм есть некоторый покров, брошенный над бездной, над ночью народного духа.

Достоевский этот покров срывает. Он весь ночной. Даже в своих пороках, в своих попытках облить грязью жертвы насилий, подавленные российской властью, он все же бессознательно исходит из комплекса вины, из стихийного чувства вины, греха, из бесконечного списка грехов, наданных Карамазовыми и не искупленных двумя или тремя святыми. Каждая страница Достоевского вопиет о грехе и покаянии, есть исповедь темной и мучающейся своей темной народной души — до просветления: "Все мы друг перед другом виноваты"...

Мистическое чувство вины, по-видимому, вообще связано с какой-то земной болезнью. ...В болезни что-то есть: выключенность из будничной череды, взгляд на жизнь как целое (потому что она как целое уходит из-под ног), вопрос о смысле этого целого...

Так и с социальными болезнями. Патологией древних евреев была диаспора. Евреи ведь с самого начала, с египетского плена — "пришельцы", "странники" (так переводится само слово "иври"). В странствиях вынашивали они образ Спасителя. Но собственно вынашивали пророки, а кругом было много гниющей, вырождающейся плоти. Дух святой вошел в гниющее тело. Греческий народ, несмотря на свои пороки и извращения, был гораздо здоровее. Но он остался в язычестве, пока его не просветил юродивый еврей, ап. Павел.

Русской патологией была беспочвенность, созданная Молохом Российской империи, ломавшим на куски свое собственное прошлое, никогда не ценившим и не уважавшим культуру. Русской патологией была сама эта империя, Третий Рим, ради которого народ был отдан в рабство, в крепость, предан батогам, дыбе, шпицрутенам и всем прочим казням московским, — единственно ради того, чтобы держать другие народы, павшие под власть царей, в еще большем унижении. Русской патологией была власть, свернувшая человека в бараний рог. Разные язвы, но чувство боли одно; и Книга Иова — любимая для Федора Михайловича Достоевского. А романы Достоевского — любимые книги в Израиле (по статистике — более любимые, чем в России).

Впрочем, нет ли и других аналогий? Разве здоровая Испания породила Кальдерона и его современников? И разве в здоровое время жил Августин? В самое большое для Рима и для большинства римлян. Но оно было хорошим временем для того, чтобы писать "Исповедь"; живи Августин в век Сципиона, под гром римских побед, он никогда не отделил бы град земной от града Божьего (великая мысль, до сих пор не помещившаяся в почвенные головы). И если бы не гнила Испания — не было бы смертного напряжения духа в испанском барокко, и не было бы святых Эль Греко (сына двух гниющих цивилизаций), не было бы трагедии "Жизнь есть сон".

Распространяясь, гниение в конце концов убивает и дух. Но есть какой-то миг болезни, который выше самого цветущего здоровья..."

Это не теория, не концепция. Это живое чувство. Монотеизм возникает как вопль к Богу. В совершенной заброшенности, в отчаянии одинокого, затравленного чужака. "Кричи к Богу" (шрай цум Гот), — говорила моя мама. Она не веровала в Бога, но хорошо помнила народные поговорки. Символ веры первоначального монотеизма — вопль с плахи: Слушай, Израиль! Адонай Бог наш, Адонай один!

Такое же непосредственное живое чувство — самосознание избранного народа, народа-церкви, невесты господней. Оно возникало в истории несколько раз, и почти всегда связано с особой разновидностью монотеизма: у евреев, армян, сирийцев, ассирийцев... Национальное небо заменяло национальную землю, вырванную из-под ног. Однако нечто подобное случи-

лось и у польских поэтов и мыслителей прошлого века, попавших в изгнание; и у некоторых русских мыслителей, — почувствовавших себя чужими в петербургском периоде. Особой религии ни у поляков, ни у русских не было; но потрясенное национальное самосознание создавало образ какой-то особенной католической Польши, особенной православной России. И по крайней мере в Польше католичество действительно стало стержнем национального сопротивления.

Апостол Павел, создавая церковь, ваял ее из еврейской диаспоры. Он взял народ-церковь, отбросил обряды, скрепляющие народность (обрезание, запрет есть некошерное мясо и т.п.), и осталась церковь. Недавно мне попались тексты II-го века, в которых отчетливо выступает дух и отчасти даже плоть диаспоры, ее положение между народами земли, ее беды и страсти. Анонимный апологет, автор послания к Диогнету, создает идеализированный образ; но начинается он с совершенно точного социологического описания:

"Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужбина — отечество, и всякое отечество — чужбина..."

"Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но свою жизнь превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают; умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются; клеветают на них, и они оказываются праведны; злословят, и они благословляют; их оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемыми, радуются, как будто им давали жизнь" (Антология "Раннехристианские отцы церкви", Брюссель, 1978, с. 595-596).

А что о них думают другие? Каково общее мнение (на которое обычно ссылаются, говоря о народах диаспоры)? Об этом пишет другой апологет, Марк Минуций Феликс, автор диалога "Октавий". Язычник Цецилий свидетельствует там:

"...Они называют друг друга без разбора братьями и сестрами для того, чтобы обыкновенное любодейние через посредство священного имени сделать кровосмешением: так хвалит-

ся пороками их пустое и бессмысленное суеверие. Если бы не было в этом правды, то пронизательная молва не приписывала бы им столь многих и отвратительных злодеяний (подчеркнуто мною. — Г.П.). Слышно, что они, не знаю по какому нелепому убеждению, почитают голову самого низкого животного, голове ослы: религия, достойная тех нравов, из которых она произошла! Другие говорят, что эти люди почитают гениталии своего предстоятеля и священника, и благоговеют как бы перед действительным своим родителем. Не знаю, может быть все это ложно, но подозрение очень оправдывается их тайными, ночными священнослужениями. Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, и бесславное древо креста: значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, что сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвященному в их общество предлагается младенец, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт мукою: и тот, обманутый видом муки, по приглашению сделать будто бы невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца, и тогда, — о, нечестие! — Присутствующие с жадностью пьют его кровь и разделяют между собою его члены. Вот такую жертвою сцепляется их союз друг с другом, и сознание такого злодеяния обязывает их ко взаимному молчанию...

В день Солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста. Когда после различных яств пир разгорится и вино воспламенит в них жар любострастия, то собаке, привязанной к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большем, чем длина веревки, которою она привязана; собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник, и в темноте все предаются свальному греху. Таким образом все они, если не самим делом, то в совести делаются кровосмесниками, потому что все участвуют желанием в том, что может случиться в действии того или другого" (Антология, Брюссель, 1978, с. 552-554).

Мне кажется, что сходство между ранними христианами и народами диаспоры достаточно полное. Апостол Павел не творил из ничего; скорее, как Микельбанджело, он взял глыбу камня и отбросил все лишнее. Так же я представляю себе возникновение монотеизма. Пророки отбрасывали лишнее, — то,

что противоречило непосредственному интимному отношению верующего с верховным творческим Духом, который с самого начала был налицо.

Как это доказать исторически? Не знаю. Отрывочные сведения о каких-то иберу (чужаках, пришельцах) начинаются с III-го тысячелетия до Р.Х. (архив Эблы, сирийского города, процветавшего в XXV-XXIII вв.). Может быть, это исток еврейского народа — и тогда евреи издревле народ диаспоры; а может быть, иберу Эблы — какие-то другие чужаки, другие пришельцы, всякие пришельцы, наподобие метеков в Афинах. Когда именно иври — пришелец — стало именем одного народа, евреев? До или после египетского плена? Кем был Авраам (если видеть в нем лицо историческое)? Пастырем стад, вроде нынешних бедуинов? Библия рисует изворотливого торговца, готового продать Сарру то местному князю, то фараону. И вот именно он, этот не очень щепетильный муж, удостоен посещения трех ангелов — а потом становится "рыцарем веры" (Кьеркегор) и готов принести любимого, единственного сына в жертву Единому. Как эта мелкая подлость (продажа Сарры) и вершина веры совмещалась в одной груди, в одном сердце? "Широк, слишком широк человек. Надо бы сузить". Тут не Николка (как сказал бы Порфирий Петрович), не простодушный бедуин, а изощренный горожанин, разом созерцающий две бездны. И я не удивился, натолкнувшись на гипотезу, что Авраам — житель Ура Халдейского (XVIII в. до Р.Х.).

Кто, собственно, попал в Египет? Яков, борющийся с ангелом? Или Авраам, Исаак и Иаков принадлежат мифологии (а не истории), а какие-то пришельцы, забредшие в Мицраим Бог знает когда, стали народом только после Исхода, во главе с Моисеем? Был ли Иосиф визирем Эхнатона, участником и вдохновителем его реформ — или, напротив, Моисей (как считал Фрейд) — египетский принц, сторонник Эхнатона, решивший увлечь за собой группу пришельцев и построить с ними новое царство нового Бога? Все эти вопросы могут быть поставлены, и можно сочинить разные сценарии исторического процесса, но все они — только сценарии. В научной истории народа Библии — огромные белые пятна; ученый, привыкший осторожно переходить от факта к факту, пасует, и открывается простор воображению.

Опираясь на данные смежных наук, можно себе кое-что

представить. Хотя в таких реконструкциях прошлого факт отстоит от факта на тысячу лет и ничего нельзя доказать. Разве только показать, что установившиеся суждения тоже не слишком многого стоят, и если говорить строго, — мы не знаем о происхождении монотеизма решительно ничего. А потому допустимы любые, самые смелые гипотезы.

Говорят, что Авраам слышал Бога. Я в это верю. Все основатели великих религий слышали Бога. Слышал Мани, слышал Мохаммед... Но Бог говорит с каждым на его языке. Молния сверхсознания создается в символах культуры — индийской в Индии, средиземноморской — в Средиземноморье. В Индии эта молния падала много раз, и ни одного раза Бог не потребовал — отвергнуть всех других богов. Почему Бог потребовал этого от евреев?

Говорят о склонностях семитов к монотеизму. Но (даже если не вспоминать Аккад, Вавилон, Ассирию, Финикию, Карфаген) религия арабов до Мохаммеда вовсе не была монотеизмом. Был верховный Аллах, и были другие боги. Чтобы превратить эту религию в монотеизм, понадобилась религиозная революция ислама. Мохаммеда вдохновили "народы книги". А кто вдохновил Авраама?

Говорят, что политеизм отражал первобытно-общинный строй, а монотеизм был идеальным отражением восточной деспотии. Но Сын Неба и Чакравартин, — владыки четырех стран света — не отражались в монотеизме. И египтяне никакого тяготения к монотеизму не испытывали. Наоборот: они отвергли реформу, навязанную им Эхнатом. Там, где правили цари, монотеизма не было. А там, где сложился монотеизм, не было царей. Израилем, вплоть до Саула, правили судьи. А во многие важные периоды и государства не было (египетский и вавилонский плен).

Многие советские ученые считают, что монотеизм начался позже — в VI-V вв. до Р.Х. Но при этом монотеизм смешивается с иконоборчеством. Если монотеист может ставить свечку перед иконой, то почему нельзя — оставаясь монотеистом — плясать вокруг золотого тельца? Считал ли Аарон тельца, которого отлил для народа, богом? Или только символом, знаком, образом, воплощением бога?

"Ученые это считают борьбой религий и проникновением язычества в монотеизм юдаизма, — пишет об этом А.Д. Синяв-

ский, пересказывая В.В.Розанова. — Но, вопрошает Розанов, разве Аарон поклонялся другому богу, чем его брат Моисей? Нет, конечно. Все различие состояло только в изобразимости или неизобразимости Божества. Аарон только несколько вульгаризовал, материализовал Бога невидимого, Бога, чьи рога торчали из жертвенника ("жертвенник в Иерусалимском храме имел два рога" — с. 100). Спор Аарона с Моисеем, который разбил изваянного быка, это не борьба двух религий, а лишь оттенки и волны колебаний в пределах одной религии. Так же как в пределах христианства были споры между сторонниками почитания икон и иконоборцами¹.

При всей заведомой и не раз подчеркнутой отдаленности В.В.Розанова от науки, в его рассуждениях есть замечательная формулировка: "не борьба двух религий, а лишь оттенки и волны колебаний в пределах одной религии" (стр. 101). Или, по-иному, — в пределах *одного процесса* перехода от диффузной первобытности религии к монотеизму.

Понять мысль Розанова мешает скандальный пример с золотым тельцом, очень уж это зафиксировано в сознании, и неохота вывернуть хрестоматийно известное наизнанку. Но оставим ненадолго тельца и обратимся к шиваизму. Один из символов Шивы — бык Нанди. Изваяние этого тельца — почти в каждом шиваитском храме. Бог ли это? И да, и нет. Для шиваитского богослова бык — только "облик игры" Шивы. На уровне богословия шиваизм очень близок к монотеизму. Разница в том, что тварных небожителей индуисты вообще (и шиваиты в частности) продолжают называть богами; но трансцендентный аспект, превосходящий все тварное, имеет (для шиваита) только Шива; он один создает (и разрушает) вселенную во время пралайи (отдаленно напоминающей страшный суд). Словом, Шива (для шиваита) — Бог с прописной буквы, а остальные боги — на грани превращения в ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. Хотя эту грань индуист никогда не переходит — у него другая логика, он различает не истинного бога от ложного, а более истинного от менее истинного, большую реальность от меньшей и т.п. Если внести в индуизм средиземноморскую логику, с ее резким делением чер-

¹ Синявский А. "Опавшие листья" В.В.Розанова". Париж, 1982, с. 100-101.

ного и белого, истины и лжи, реальности и нереальности, вечно-го спасения и вечной гибели, — Шива превратился бы в Ягве, а Нанди — в херувима. Которого и евреи представляли себе в виде крылатого быка. Хотя поклоняться образу херувима не смели.

Как только мы перебрались по ту сторону Суэцкого канала, логика Библии становится недействительной, можно свободно творить и разрушать кумиры, исчезает единственность откровения и Единое выступает в тысяче ликов. Это состояние, очевидно, старше, древнее. Соединив данные индологии и этнографии первобытных племен, можно сделать вывод, что ни первобытного политеизма, ни прамонотеизма не было. Не было самой дихотомии: единобожие — многобожие. Было диффузное состояние, из которого можно было по-разному выйти (эллины и иудеи) или по-разному сохранить его (Индия и Китай). Общую теорию этого процесса еще в XIX веке разработал Макс Мюллер, и тогда же ее принял Вл. Соловьев, вопреки тогдашней этнографии, путавшейся в различных "измах". В статье "Первобытное язычество: его живые и мертвые остатки" (1890) Соловьев пишет:

"Как известно, Макс Мюллер весьма убедительно доказал, (главным образом по отношению индийцев древнейшей ведической эпохи, но то же может быть доказано и относительно других народов), что ни настоящего единобожия, ни настоящего многобожия тут быть не могло по той простой причине, что сами боги не были достаточно фиксированы и обособлены, так что каждый смешивался со всеми и все сливались в одном. Чувствовалось с самого начала единство чего-то божественного, обнимающего и проникающего весь мир, но это единство не приурочивалось постоянно и окончательно к какому-нибудь одному богу, а связывалось, смотря по обстоятельствам, то с тем, то с другим: каждому из них в таком случае приписывались свойства не только верховного, но и единственного божества, разумеется, не с отрицанием всех прочих, а с превращением их в имена и атрибуты всеединого. Таким образом, Макс Мюллер признает просто неотносящиеся к делу отвлеченные категории единобожия и многобожия, взятые из позднейшего духовного состояния, а для обозначения им первобытной фазы религиозного сознания он предлагает особый термин — кафенотеизма или енотеизма" (сейчас принято транс-

крибировать это слово иначе — генотеизма. — Г.П.).

“...Научная мысль должна будет отстранить и много других столь же неуместных вопросов... Было ли здесь понятие о личном разумном существе, или же только понятие о безличной субстанции или субстрате всех вещей? Как много было написано в пользу того или иного ответа на этот вопрос. А между тем., если никто не интересуется знать, держались ли они (первобытные люди. — Г.П.) в теории цветов воззрения Ньютона или идей Гете, то почти столь же странно требовать от них определенного выбора между абсолютной субстанцией Спинозы и Верховным Разумом Лейбница.

Божественное всеединство не столько мыслилось, сколько чувствовалось...” (соч. т. 6, с. 164-165).

Однако Соловьев не продумал всех выводов из нового воззрения. Мешали старые привычки. Как только дело доходит до различия между христианством и другими религиями, рутина торжествует, и неоплатонизм или буддизм без колебания определяются как язычество. Хотя язычество — синоним многобожия, а Плотин почитал Единое. Будда — не ставшее, не рожденное, не сотворенное... Видимо, нужны более широкие понятия. Чувство всеединства, единого, целого может найти свое отчетливое выражение не только в образе единого Бога, но и в других образах: Брахмана, Дао, Единого, не ставшего (или Великой Пустоты) и т.п. Все религии, в которых мощно выражено созерцание целого, превосходящего всякое бытие, составляют одну семью.

Нас сбивает с толку то, что и буддизм, и неоплатонизм не отрицают существования многих богов. Но это чисто языковое, знаковое затруднение. Боги буддизма, даосизма, неоплатонизма не являются высшей инстанцией. Мы невольно приписывали им такую роль под влиянием эллинской мифологии, где единое не выражено, и мир управляется сонмом олимпийцев. Но эллинская мифология не норма (здоровое детство), а тупик религиозного развития, обрыв, с которого можно было только прыгнуть во что-то совершенно иное. Как только философия сложилась, она тут же принялась искать единое, потерянное народной верой, и в неоплатонизме стала ядром новой религии. С течением времени неоплатонизм мог бы выработать народный язык и стать мировой религией Запада наподобие буддизма на Востоке, — с Плотиним или кем-нибудь еще в роли Буд-

ды. Важен не характер верховного образа (символа непостижимой, повергающей в трепет тайны целого, объемлющего и время, и вечность), а то, что такой образ есть. Остальное — иконография. Она по-своему важна, но различия икон не мешают единству веры. А мистическая суть веры во всех высоких религиях одна. Сердца христиан, мусульман, буддистов, индуистов трепещут от одной тайны.

Вернемся, однако, к первобытному диффузному состоянию. Нельзя строго доказать, но можно предположить, что те племена, которые сегодня не имеют образа Единого, когда-то его имели. И возможно, что некоторые культуры, на первый взгляд языческие, не совсем его утратили и хранили имя Единого как тайну, которая сообщалась не всем (например, только взрослым мужчинам этого племени), а с течением времени — только избранным. Такое тайное знание брахманы передавали своим ученикам (но ни в коем случае не шудрам). Розанов считал, что какие-то египетские жрецы тоже знали Единое, и евреи только нашли имя для общей тайны древних религий: сущий, Ягве. С этой точки зрения, исключителен не монотеизм (как тайное течение он скрыто существовал во всех восточных культурах), а греческий политеизм, возникший в результате профанации, потери эзотерической традиции. В той мере, в которой греки способны были к эзотеризму (орфики, пифагорейцы), они древнее предание сохранили...

Что в этих рассуждениях неверно? Я думаю — отрицание разницы между эзотерической традицией и всенародной верой. Сделать эзотерическую традицию достоянием каждого — это не только перемена названия; это религиозная революция. Какие-то эзотерические традиции в Египте были, и не исключено, что с ними связана реформа Эхнатона. Но попытка всенародного культа Единого провалилась. Для чистой религии Единого в Египте не было почвы. Нужно было другое социальное тело. Было ли оно телом диаспоры, в позднейшем смысле этого слова? Может быть, еще нет. Достаточно было предшественников диаспоры: египетского рабства, вавилонского плена. Достаточно того, о чем говорит Библия: будь милостив к чужаку, страннику, пришельцу, ибо ты сам был чужаком, странником, пришельцем в земле египетской. Важно, что евреи в Египте и на реках вавилонских чувствовали себя чужаками, пришельцами. Хотя, может быть, еще отчасти сохраняли структуру племени.

Важен отрыв от корней и униженное существование на задворках общества. Формы такого задворочного существования могут быть различные. Виктор Тернер, английский этнолог, разработавший интересную теорию взаимодействия между социальной структурой и тем, что Конфуций называл бы музыкой, — всеобщим братством экстагического порыва, — подчеркивает творческую роль всякого рода униженных в религиозных и политических движениях. Это старая идея духовной нищеты, но она выражена языком науки и опирается на огромный этнографический материал.

В центре концепции Тернера — идея коммунитас, которую он определяет словами Мартина Бубера...:

*"Община — это жизнь множества людей, но не рядом (и можно было бы добавить: не над и не под), а вместе. И это множество, хотя оно движется к единой цели, на всем протяжении пути сталкивается с другими, вступает в живое общение с ними, испытывает перетекание из Я в Ты. Община там, где возникает общность"*¹.

Бубер точно указывает на спонтанную, непосредственную, конкретную сущность коммунитас в противоположность нормативной, институционализированной, абстрактной сущности социальной структуры. Однако коммунитас становится явной или доступной, так сказать, только посредством ее противоположения или ее гибридизации с аспектами социальной структуры... Коммунитас можно понять лишь через ее отношения со структурой. Компонент коммунитас важен именно потому, что он неуловим. Здесь весьма уместно вспомнить притчу Лао-цзы о колесе и колеснице. Спицы колеса и его ступица, к которой спицы прикреплены, будут бесполезны, по словам Лао-цзы, если в центре не будет отверстия, бреши, пустоты. Коммунитас с ее неструктурным характером, представляющая "самую суть" человеческой взаимоотношенности (то, что Бубер назвал межчеловеческим), можно было бы вообразить в виде "пустоты в центре", которая, тем не менее, необходима для функционирования структуры колеса.

Подобно другим ученым, занимавшимся концепцией коммунитас, я вынужден был обратиться к метафоре и аналогии вовсе не случайной и не из-за отсутствия стремления к

¹ Buber M. Between man and man. L. 1961, p. 51

научной строгости. Дело в том, что коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с другими целостными людьми. Структура, напротив, обладает познавательными качествами; как показал Леви-Стросс, это, по сути, ряд классификаций... Отношения между целостными существами порождают символы, метафоры и сравнения; продуктами таких отношений скорее являются искусство и религия, чем правовые и политические структуры. Бергсон увидел в словах и писаниях пророков и великих художников создание "открытой нравственности", которая сама была выражением того, что он назвал "жизненной силой". Пророки и художники... — "пограничные люди, которые со страстной искренностью стремятся избавиться от клише, связанных со статусом и исполнением соответствующей роли, и войти в жизненные отношения с другими людьми — на деле или в воображении. В их произведениях можно увидеть проблески этого неиспользованного потенциала человечества, который еще не воплотился в конкретную форму и не зафиксирован структурой"¹.

Специфические термины, которые вводит Тернер, это лиминальность (пороговость: переживание жизни на пороге бытия и небытия, личности и ничто), маргинальность (жизнь на задворках) и приниженность (социальная нищета как символ духовной нищеты). Именно в этих состояниях чаще всего реализуется чувство "принадлежности к человечеству", самосознание "людей в их целостности, во всей их полноте". "Лиминальность, маргинальность и низшее положение в структуре — условия, в которых часто рождаются мифы, символы, ритуалы, философские системы и произведения искусства" (подчеркнуто мной. — Г.П.) (с. 198).

Взаимоотношения между колесом и (структурой) и дыркой в колесе (потребностью во все стирающем порыве) напряжены, противоречивы и всякий перекося в одну сторону вызывает рывок в другую. Порыв экстатического чувства, долго сдержанного, может раскрыть глубину жизни — но может устремиться и по ее поверхности, все круша, ломая. Попытка братства без общего чувства Отца — это бунт, бессмысленный и беспощадный; вместо новой, реформированной социальной

¹ Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 197-198.

структуры возникает хаос; а усталость от анархии ведет к новому деспотизму, хуже прежнего. Тернер описывает этот религиозно-политический процесс так:

"Преувеличение структуры может привести к патологическим проявлениям коммунитас извне или против "закона". Преувеличение коммунитас в определенных религиозных и политических движениях уравнительного типа может вскоре смениться деспотизмом, сверхбюрократизацией или другими видами структурного ужесточения. Потому что, подобно неопитам-африканцам после обрезания, или бенедиктинским монахам, или членам милленаристских движений¹, люди, живущие в общине, рано или поздно начинают требовать чьей-либо абсолютной власти, – будь то со стороны религиозной догмы, боговдохновенного вождя или диктатора. Коммунитас не может продержаться сама по себе, если материальные и организационные нужды людей должны удовлетворяться адекватно. Максимальная коммунитас влечет за собой максимализацию структуры, каковая, в свою очередь, порождает революционные стремления к возобновлению коммунитас. История любого большого общества богата примерами таких колебаний на политическом уровне..." (с. 199).

В рамках этой общей концепции Тернер неоднократно отмечает роль "презираемых или бесправных этнических или культурных групп". Выходцы из них "играют главные роли в мифах и сказках как представители или выразители общечеловеческих ценностей. Среди них знамениты: милосердный самарянин, еврей-скрипач Ротшильд в чеховской новелле "Скрипка Ротшильда", марктвеновский беглый раб – негр Джим в "Гекльберри Финне" и Соня у Достоевского..." (с. 183). "Мы можем упомянуть также о роли, которую играют в системах наций структурно небольшие и политически незначительные нации, выступающие как хранители религиозных и нравственных ценностей, например, евреи на древнем Ближнем Востоке, ирландцы в христианском мире раннего средневековья..." (с.182).

Эта творческая роль связана со странничеством, неприкаянностью, которое часто становится желанной формой жизни в истории мировых религий:

¹ Милленаризм (или хилизм) – порыв к тысячелетнему царству праведных.

“...Следы перехода как качества религиозной жизни сохраняются в формулировках вроде: “Христианин – чужой в этом мире, пилигрим, странник, которому негде преклонить главу”. Здесь переход становится постоянным условием. Нигде институализация лиминальности не обозначается и не определяется более ясно, чем в монашестве и нищенстве как институтах мировых религий” (с. 180).

Тернер анализирует и ряд других примеров (бегство Будды из двorca, уход Толстого из Ясной Поляны и т.п. Ср. стр. 256-260).

Я чувствую себя вправе воспользоваться языком Тернера и сказать о весьма высокой вероятности лиминального, маргинального и приниженного происхождения монотеизма; не в громе и молнии, на горе Синай, а в городских трущобах, рядом с клоаками греха; скорее среди мытарей, чем среди пастухов.

2. Истоки и устье религиозной революции

В одном ряду с размышлениями Макса Мюллера, Владимира Соловьева, В.В.Розанова и В.Тернера стоит и мой опыт “Истоки и устье религиозной революции” (первая редакция – 1981, вторая – 1982 г.). Я ставлю там вопрос: почему в Средиземноморье произошел раскол на монотеизм и политеизм, – тогда как в Индии и в Китае этого не было? В поисках ответа (хотя бы и неполного) стоит вспомнить, что сама логика Индии более диффузна; она не знает закона исключенного третьего; она допускает ответы: это и то, и другое; это ни то, ни другое; это неопишимо. С такой логикой можно сохранить, не разрезая, клубок символов, истолкование которых ведет то к монотеизму, то к политеизму. А с логикой аристотельского типа (основы которой сложились задолго до Аристотеля) надо выбрать что-то одно: или боги стихий, или незримый Эл, Элохим, Аллах. Думаю, что различия логики уходят очень глубоко в сознание и как-то связаны с большей техничностью и геометричностью прикладного искусства и архитектуры Средиземноморья. Уже каменные наконечники копий, найденные здесь, геометричнее восточных. Начинается железный век – и на Западе куют прямые мечи, в глубинах Востока – кривые сабли.

Пирамиды, зиккураты резко противостоят криволинейным, органичным, скалоподобным и древоподобным сооружениям Индии и Китая. С чем это связано? Может быть, с резкими линиями пустынных горизонтов, окружавших очаги ближневосточной цивилизации? Пирамида смотрится на фоне пустыни. Индийский храм, дальневосточный храм — на фоне лесных зарослей. Но это только одно из возможных объяснений; непременно найдутся и другие.

По каким-то причинам все цивилизованные народы Средиземноморья потеряли невидимого вездесущего Бога и создали пантеон из богов стихий. А один — только один и очень маленький народ пошел противоположным путем, отверг богов солнца и луны, и звезд, и хозяев земли (ваалов). Почему?

В шестидесятые годы я пришел к мысли, что решающей земной причиной этого сдвига была диаспора. Народ, сидящий на земле, привязан к богам земли, ваалам. Жить в лесу — молиться пням. А жить в городах, без связи с землей — значит, терять богов земли и искать своего Бога там, где ничего нет, на небе.

Возражения, которые встретила эта мысль, мне кажется, коренятся в неполноте исторических знаний, а также в ограниченности эстетики. Евреям самим хочется, чтобы Авраам был пастухом. Христианам хотелось, чтобы евреи, создавшие монотеизм, были какими-то особыми евреями, непохожими на тех, кого можно было встретить сегодня. Диаспора стыдится самой себя, тоскует по земле и создает миф о происхождении своей городской веры около врат рая. Народы, захваченные религией диаспоры, тем больше не хотят признать своими духовными праотцами купеческих приказчиков, портных и сапожников. Если бы не было точно известно, что Мохаммед — купеческий приказчик, его бы непременно сделали похожим на Авраама. Но ислам возник слишком поздно и слишком быстро, все основные факты были записаны и переделать их в воображении было нельзя. И вот, религию бедуинов создал купец; а религию горожан-евреев — если буквально принимать Библию — создал бедуин. Я в это не верю.

Какие-то элементы бедуинского предания вошли в Библию. Например, в рассказе о первом убийстве Каин-земледелец пролил кровь кроткого пастуха. Трудно предположить, чтобы такой миф возник у земледельческого народа. Скорее у

кочевников (потомков Авеля), оправдывая их набеги на земледельцев (потомков Каина). Однако праевреи могли перенять миф у своих соседей ради его нравственной и религиозной сути, без внимания к этнографическим подробностям, безразличным для народа диаспоры (не земледельческого и не кочевого, способного к симбиозу и с оседлым, и с кочевым населением). Наконец, возможно, что собственно еврейский народ возник только после Исхода из группы сторонников реформы Эхнатона, отвергнутой Египтом; и в состав нового народа (помимо праевреев, почитателей Яхве) могло войти какое-то пограничное, пастушеское племя со своим фольклором; так же как другие группы, чисто египетские (золотая утварь, будто бы украденная евреями накануне бегства, могла принадлежать египетским аристократам или другим состоятельным людям).

Однако основную среду, подхватившую импульс монотеизма, составили не пастухи и не египтяне. Импульс сам по себе — всякий глубокий импульс — граничит с чудом и не подчиняется строгому социологическому закону. Идея могла потрясти любую голову. В том числе голову фараона Аменхотепа III (Эхнатона). Но как раз судьба реформы Эхнатона показывает, что одного зачинателя мало, что даже власть фараона имеет свои пределы. Даже если допустить, что диалога с Иосифом не было, что Эхнатон пришел к монотеизму совершенно самостоятельно, и его монотеизм — автохтонно египетский, — все равно, история сделала начинание Эхнатона антиегипетским. Египетский народ новой религии не принял. Он вяло покорялся реформаторству — и яростно поддержал контрреформацию. Память о ереси была вычеркнута, стерта до основания, на тысячи лет. И только какая-то неегипетская группа (при участии *кучки* египтян) продолжила историю монотеизма.

Здесь многое навсегда останется тайной. Брестед заметил, что имя Моисей (Моше) напоминает обрубок египетского имени типа Тот-мосе (Тутмос), Ра-мосе (Рамзес) и т.п. (потомок Тота, потомок Ра). Фрейд¹ поддержал эту гипотезу и предположил, что Моисей был египетским принцем, возможно — губернатором пограничной провинции, тайным сторонником ве-

¹ Freud S. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Frankfurt a. M., 1975.

ры Эхнатона, избравшим праевреев, чтобы с этим народом совершить то, что впоследствии удалось Мохаммеду, Абу Бакру и Омару: создать единую империю единого Бога. Библейский рассказ о дочери фараона, нашедшей младенца Моисея и воспитавшей его, Фрейд трактует как попытку объяснить превращение египетского принца в еврейского вождя, а его потомков — в левитов. Само по себе такое превращение принца Тота-мосе в Мойше-рабойне не более удивительно, чем превращение Иешуа га-Носри в Иисуса Христа. Фрейд указал несколько возможных египетских заимствований: обрезание; одно из имен Бога — Адонай (искаженное Атон); символ веры — Адонай Бог наш, Бог единый — напоминает стих из гимна Атону. Но я не могу согласиться, что праевреи были случайным, наудачу выбранным и распропагандированным орудием честолюбивого египтянина. Кем бы ни был Моисей по крови — египтянином или ассимилированным евреем — дело не в нем одном. Что-то было в самом народе, подхватившем его призыв. Хотя решающий толчок к оформлению еврейского монотеизма мог быть дан в диалоге с реформой Эхнатона¹.

В те давние времена, задолго до того, как мировая империя стала незыблемым фактом и в римских городах смешивались и разрушались племенные и прочие местные религии, уступая место общей оторванности от корней, отчуждению, беспочвенности, — только народ, лишенный поддержки богов земли, потянулся к Богу незримому, вездесущему и всемогущему.

Я хорошо знаю, что состояние диаспоры немногих возвышает до вселенской веры и большинство — уродует, унижает, калечит. Я сознаю, что окончательное оформление новой религии невозможно было без земли обетованной, без какой-то почвы под ногами, чтобы построить храм и создать культ. Но первоначальный толчок к психологии монотеизма я вижу все же в состоянии изгнанника, чужака. И сквозь все библейские напластования почвенной жизни проступает самопознание человека диаспоры: будь милостив к чужаку, страннику, ибо сам ты был странником в земле Египетской.

¹ Допустим, что племя, сохранившее диффузное чувство единого, попало в развитую (для того времени) страну. Его пророки усвоили ясность отвлеченной мысли, сложившуюся в городе, и продумали свою традицию так, как никогда не удалось бы в пустыне. А дальше действовали условия плена, изгнания, рассеяния.

За несколько веков между Исходом и созданием Библии евреи забыли быт рассеяния. Они и не хотели его помнить — как сабры не хотят помнить быт своих дедов, местечковых торговцев, и стали совершенно другим народом, крепко привязанным к земле. Но и Библия несколько раз повторяет: Будь милостив к страннику, к чужаку. Именно это — нравственная суть монотеизма. Отдельные евреи и отдельные еврейские правители могли забывать ее, и в борьбе за физическое самосохранение на отвоеванном кусочке земли становиться подобными язычникам, но снова и снова в пророках восстает чувство благодати, осенившей незащищенность странника, не имеющего где преклонить голову. Великое чувство беззащитности, постигнутое в диаспоре, не забылось. И от имени всех беззащитных Исайя пророчествовал о временах, когда лев ляжет рядом с ягненком и перекуют мечи на орала. И так как этого никогда не было в прошлом, то золотой век у евреев переместился в будущее. Факт, имевший огромное значение для истории человечества.

Я убежден, что пророчество Исайи и вера Христа родились в душе народа, хорошо запомнившего плен египетский, плен вавилонский, беззащитность диаспоры. Я вижу грязь диаспоры, но она меня не отталкивает. Достоевский приучил меня к святости среди грязи (Соня Мармеладова, Хромоножка). Я нахожу решительно ту же эстетику в Евангелии. Не к здоровым приходит врач, а к больным. Не к фарисеям, а к мытарям. И не в традиционном месте поклонения воплощается Бог, а в месте позора, на виселице.

Можно подобрать и другие примеры. Например, в истории. Разве средние века — чистое время? Древние греки и римляне были чище. Но святости у них было меньше, чем у Франциска. Или разве Индия — чистая страна? Китай гораздо чище, прибраннее. Но святости в Индии больше. Наконец, в России, — по словам Константина Леонтьева — легче встретить святого, чем элементарно честного человека. Допустим, это гипербола. Но направление мысли Леонтьева верное. В Голландии гораздо больше честных людей и меньше святых на тысячу жителей, чем в азиатских странах и в Евразии. С первым все согласятся, я думаю, можно согласиться и со вторым.

Святость вовсе не боится соседства с мерзостью. Напротив, святая Русь Хомякова "всякой мерзости полна". И тем не

менее — свята. Я думаю, свят был (сквозь мерзость) и Израиль, рождавший веру в единого Бога. Евреи, окружавшие Христа, вызывали у греков и римлян примерно те же чувства, что хасиды — у польского или русского помещика. Это факт, засвидетельствованный многочисленными документами. Их собрал и опубликовал Лурье в книге "Антисемитизм в древнем мире". Метерлинк на этом контрасте построил драму "Мария Магдалина". Попытка отделить истинный Израиль от нечестивых иудеев совершенно не выдерживает исторической критики. Христианство создали и распространили жители городских предместий, а не идиллические пастухи. Я думаю, что первоначальный монотеизм тоже возник в предместьях больших городов.

Если эстетика перестает сопротивляться этой мысли, исторические аргументы против связи монотеизма с диаспорой легко парировать. Разумеется, строгие доказательства здесь невозможны, но кое на что указать вполне можно.

Диаспора есть в Африке, среди племен банту. Это показывает, что диаспора может возникнуть на очень ранних ступенях развития, — что хорошо согласуется с данными о диаспоре иберу в III-ем тысячелетии до Р.Х. Трагедия народности ибо в Нигерии — одна из типичных историй диаспоры. Есть индийская диаспора в Африке, китайская и тамильская — в Юго-Восточной Азии, и китайские погромы в Индонезии и Малае идут по той же схеме, по которой развивались события на Украине XVII-XVIII веков. Текучая диаспора, то возникающая, то исчезающая — одно из постоянных явлений исторического процесса. Но устойчивая диаспора, со своей религией, поддерживающей единство вечных изгнанников — специфическое явление Ближнего Востока. Такое же специфическое, как монотеизм. Вслед за евреями, здесь сложились другие народы диаспоры, со своей особой разновидностью монотеизма: армяне (монофизиты), сирийцы и ассирийцы (несториане). Они сохранили национальный очаг, но удельный вес армянской диаспоры по отношению к ядру несравним с китайской или русской эмиграцией. Тип жизни армян очень близок к еврейскому. Судьба армян (и ассирийцев) во многом повторяет еврейскую судьбу.

Ничего подобного в истории Дальнего Востока не было. Из Индии забрело на Запад племя цыган, но (кроме способности переходить с места на место) ничего общего с народами

диаспоры у цыган нет. Народ диаспоры высоко интеллектуален, легко усваивает чужую культуру, достигает ее вершин — и в то же время остается по сути своей инородным телом, связанным особой разновидностью монотеизма. В народе диаспоры нераздельно существуют универсализм и замкнутость, этническая обособленность.

Один из подходов к возникновению диаспоры — в структуре пространства Ближнего Востока. Древнейшие цивилизации имели здесь мелкоочаговый характер, не сливались в единое многоликое целое, как на равнинах Индии и Китая. Очаги цивилизации росли обособленно друг от друга, иногда просто ничего не желая знать о соседях. Например, египтяне (крайний случай этноцентризма) считали всех неегиптян потомками дьявола, а неегипетские языки связывали с особым уродливым устройством органов речи. По равнинам Индии и Китая высокая цивилизация расползлась из одного угла, связывая огромный регион в единое целое; а на Ближнем Востоке сложился некий дух обособленности, $A = A \neq B$, и этот дух передавался каждой новой народности, переходившей от племенной жизни к государственной. Структура пространства, структура ума и зримого воплощения ума в предметах быта и в жилище (прямолинейность мысли и дела, обособленность очага от очага) находятся здесь в полном соответствии. Так же как в цивилизациях Юга и Востока Азии — размытость пространственных и интеллектуальных границ.

Кроме того, высокая цивилизация возникает в Индии и Китае позже, чем на Ближнем Востоке. Строительство империй начинается в Индии и Китае совсем поздно, в осевое время, после возникновения мировых по своему потенциалу религиозно-философских учений. Ашока и Цинь Ши-хуанди во многом противоположны, но оба они — ученики философов, оба исходят из известных *принципов* устройства поднебесной. И если принципы школы фа (легизма) оказались пригодными только для захвата империи, а не для ее устройства, то очень скоро удалось их заменить и дополнить другими принципами и создать имперский духовный синтез, продержавшийся свыше двух тысячелетий. Нечто подобное на Ближнем Востоке происходит только в эпоху Александра, ученика Аристотеля. Немного упрощая, можно сказать, что Александр — современник Ашоки и Цинь Ши-хуанди. И созданная им эллинистическая им-

перия — по меньшей мере попытка к духовному (а не только политическому) синтезу. Однако строительство империй на Ближнем Востоке началось гораздо раньше, еще в III-II тысячелетиях до Р.Х., без знания того, что китайцы воплотили в легенде о Вэнь-ване и У-ване. Согласно этой легенде, Вэнь-ван, царь культуры, создал духовный облик Чжоу, и только после этого У-ван, царь войны, завоевал империю Чжоу, покорив царство Инь. Практически события развивались в обратном порядке, воин захватил власть, а потом его наследник придавал новой династии блеск. Но так или иначе, У-ван в Китае все время сотрудничает с Вэнь-ваном. Каждая солидная, устойчивая династия, приходя к власти, ставит своей задачей расцвет культуры и считает это делом наследника воина-узурпатора. Император-меценат дает ход новым тенденциям в литературе и искусстве, а его потомки, следуя сяо (сыновней почтительности), сохраняют этот стиль. Так складываются танская лирика и танская новелла, сунская живопись, юаньская драма. Обаяние культуры — сильнейшее оружие Китая в его отношениях с варварами. Все народы, вторгавшиеся в Китай, окитаились. Принципы Вэнь-вана оказались достаточно универсальны, доступными каждому новому этносу, и превращали этот этнос в своего носителя, в частицу китайского суперэтноса.

Индийская культура строилась иначе. Политическое единство здесь менее важно, чем единство религиозное (единство с размытыми границами, единство текучее, но достаточно эффективное). Общественное производство в Индии регулируется не столько государственными чиновниками, сколько религиозно санкционированным кастовым разделением труда. Но с интересующей нас точки зрения Индия — еще более яркий пример. Никогда не способная к защите своих границ, она покоряла варваров комплексом своей культуры, превращала их в касты и подкасты своей социально-религиозной системы.

На Ближнем Востоке все шло не так. Саргон Аккадский, вторгшийся в Сирию и разрушивший цветущий город Эблу (с населением в 250 тысяч жителей — огромный город для XXIII века до Р.Х.), был только У-ваном. Вэнь-ван ему не наследовал. И все другие завоеватели, вавилонские, египетские, ассирийские, нововавилонские, — были только У-ваны. Иногда они пытались создать единый народ, но только очень грубыми, административными средствами, переселив, например, евреев в Ме-

сопотоамию, чтобы они там ассимилировались. Такое насилие действует как ветер на огонь: маленький гасит, большой — раздувает.

Единая культура не могла здесь сложиться эволюционным путем, впитывая в свое размытое единство все новые и новые этносы. Оказалось возможной и необходимой монотеистическая революция (ненужная и до сих пор непонятная Индии и Китаю). Над местными богами нависла неумолимая судьба. Она обрекла их на упразднение, как богов ложных, и колонны их храмов стали строительным материалом для базилик единого, всемогущего, незримого и вездесущего Бога.

Эту тенденцию понял Эхнатон, — но египтяне были слишком привязаны к старине. Они предпочли остаться без империи, чем без Озириса и Изиды. Почему же образ единого Бога был подхвачен странниками, чужаками?

Я думаю, что дело здесь не только в религиозной одаренности евреев. Одаренность индийцев не меньше, во всяком случае. Но евреев подталкивали условия жизни торгового народа, формирующегося народа диаспоры. Читая Библию, нетрудно заметить, что евреи, садясь на землю, начинали молиться хозяевам земли. Только оторванные от своих полей, они оставались один на один с вездесущим верховным Богом. Только Он сопровождал их в странствиях, в изгнании, в плену. Судьба народа диаспоры разрывает диффузное единство первобытной религии и усиливает тот элемент, который при развитии большинства средиземноморских народов земли угасал, не укладываясь в средиземноморскую логику.

Нечто подобное произошло с индийскими торговцами в Африке. В третьем поколении эмигранты из Индии потеряли малых богов и духов своего пантеона и остались один на один с Вишну или Шивой, установив с ними непосредственную интимную духовную связь. Это сдвиг к религиозности еврейского склада. К сожалению, изгнание индийцев из Восточной Африки остановило интересный процесс. А евреям история дала достаточно много времени.

Сохранилось письмо, написанное в XIV веке до Р.Х. из Сирии в Египет на тогдашнем международном аккадском языке с глоссами на иврите (который, по-видимому, был родным языком обоих корреспондентов), и другое письмо, написанное от имени фараона царю хеттов с просьбой прислать иберу, жив-

ших под властью хеттов, для поселения в только что завоеванной Рамзесом Нубии (видимо, в качестве гарнизонов)¹. Не исключено, что именно с этого начался египетский плен; хотя какие-то группы могли попасть в Египет раньше — вместе с гиксосами, а потом — прыжок Моисея и Иисуса Навина в Палестину, в землю обетованную. С двумя идеями, в сущности противоположными, из которых одна вела к Христу, а другая — к распятию Христа. С одной стороны, — с идеей милости ко всякому страннику, а с другой — с идеей мировой империи, основанной на единой истинной вере, нетерпимой к чужим богам.

Пружина, развернувшаяся, в конце концов, в исламе, толкала к завоеваниям. Но евреи были маленьким изолированным народом, в духовном гетто закона, и постоянно достраивали стену закона, отделившую их от язычников. У них не было монотеизма для неграмотных, вокруг которого можно было создать коалицию соседних племен и народов (как это сделал Мохаммед). На основе сложного, запутанного закона не мог сложиться народ, бесчисленный, как песок морской. Трагизм еврейской судьбы — в несоответствии между начинаниями мирового масштаба и принципиально ограниченными силами. Отсюда постоянные попытки соорудить нечто огромное и катастрофы. Дело не только в беззащитности диаспоры. Попытки выйти из беззащитности, обрести свою нору, вели к новым катастрофам. И все еврейские предприятия, все храмы, которые создавал Израиль, история неумолимо разрушала. Сохранялся только духовный храм — в Библии, в легендах хасидов, в поэзии и в прозе... Проходили века — и повторяли тот же круг, постепенно освобождая от кровотокающей плоти чистый дух царствования не от мира сего, прорыв сквозь время в чистую вечность.

Так первоначальный монотеизм развернулся в две мировые религии, а оставшееся ядро (иудаизм) сохранило структуру народа-церкви и церкви-народа, которую мы находим впоследствии и у других народов диаспоры (монофизитской и несторинской), — с небольшим, временами исчезающим национальным ядром и обширным облаком рассеяния, остающимся после вавилонского, персидского, римского плена.

¹ Устное сообщение В.В. Иванова. Ему я обязан также данными об архиве Эблы и об именах еврейского типа в династии гиксосов.

У всех позднейших народов-церквей бросается в глаза несколько общих с евреями черт: наследие великой культуры, специфическая форма монотеизма, препятствующая ассимиляции, небольшое национальное ядро и обширное облако рассеяния. Однако полной утраты исторической родины армяне не испытывали (а ассирийцы испытали только в XX веке). С такой точки зрения, они стоят посредине между еврейской диаспорой и текучими диаспорами XIX-XX веков, возникающими при полном сохранении национального ядра. Только еврейской диаспоре свойственны периодические завоевания Палестины и периодические утраты ее, когда национальный очаг сохранялся как идея, как тоска (на следующий год — в Иерусалиме!).

Если глядеть на этот процесс телеологически, со стороны его цели, то можно заметить, что структура, сложившаяся к Рождеству Христову, была наиболее благоприятна для этого события. С одной стороны, был национальный очаг — а в национальном ядре народ менее держится за старину, более восприимчив к новому для него. В национальном ядре строгое сохранение обряда перестает быть единственным отличием еврея от нееврея, армянина от неармянина. И поэтому можно было учить, что не человек для субботы, а суббота для человека, и что молиться надо не на горе и не в храме, а в духе и в истине. В то же время, обширное облако диаспоры было готовой сетью для *распространения* христианства.

Однако роль диаспоры не была исчерпана рождением христианства. Диаспора (еврейская и несторианская) помогла и рождению ислама.

Наконец, несториане попытались превратить монгольские завоевания в крестовый поход против ислама. Они встретили монголов как освободителей и помогали им, чем могли. Монгольским войском, выступившим против Египта, командовал несторианин. Но войско оказалось слабым (лучшие силы были посланы в Среднюю Азию, где началась борьба за верховную власть); и мамлюки разбили отряд, рассчитывавший больше на страх перед монголами, чем на свои силы. Через некоторое время монголы, поселившиеся в зонах ислама, приняли ислам (так же как другие монголы, оказавшиеся в зоне буддизма, приняли буддизм). Несториане потеряли своих покровителей. И очередная попытка диаспоры основать всемирное царство кончилась тем, чем кончились другие подобные попытки —

жестоким погромом. Большая часть несториан была вырезана.

Положение диаспоры почти всегда бедственно. Психологическая нагрузка, которую несет человек диаспоры, почти невыносима. И характер человека диаспоры достаточно часто деформирован. Это превосходно проанализировал Н. Трубецкой (в статье "О расизме", за которую он был убит, когда гитлеровцы вошли в Австрию)¹.

Подталкиваемая постоянным внутренним беспокойством, диаспора склонна к отчаянным попыткам выйти из своего положения. Иногда эти попытки дают временный успех — например, богатство, накопленное в торговле, или политическое влияние. Но то и другое вызывает ненависть, и ненависть в конце концов обрушивается на диаспору. Диаспора легко становится инструментом политики — и расплачивается за эту политику. Мы уже упоминали о попытке фараона (видимо, Рамзеса) использовать иберу для гарнизонной службы в Нубии. Что из этого проекта вышло — неизвестно. Однако, в V в. до Р.Х. персы, завоевав Египет, действительно поставили еврейский гарнизон на о. Элефантина и поручили ему полицейскую и таможенную службу. Какие чувства это вызвало у египтян, можно понять; когда Египет завоевали греки, начались погромы. Ища спасения, евреи поддерживали тех претендентов на престол Птолемеев, которые обещали им право на оружие и на организацию самообороны (как это описано в книге "Эсфирь", возникшей, по предположению Лурье, именно в Александрии во II в. до Р.Х.). Но неудачливые претенденты терпели поражение, и победители устраивали новые погромы; потом возникла уже какая-то погромная традиция, основанная на обычном наборе обвинений, которые народ диаспоры вызывает у народов земли. Последний большой погром случился уже при римлянах. Еврейские кварталы Александрии отчаянно защищались. Римляне, которым греки были понятны, а евреи чужды, послали легион в поддержку погромщиков, и дело кончилось гигантской резней. Вырезали несколько десятков тысяч. В состав делегации, посланной к императору с жалобой, входил знаменитый Филон. Но его красноречие не помогло. Все это происходило до распятия Христа, до того, как возникло обвинение в богоубийстве.

¹ Трубецкой Н.С. О расизме. In.: N.S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague - Paris, 1975, p. 467-474.

Аналогично складывалась и судьба армян. Оказавшись между Турцией и Россией, армяне встали на сторону России. В результате турки стали поощрять армянские погромы и в конце концов поступили с армянами примерно так же, как Сталин — с крымскими татарами (и с еще более убедительным результатом).

Великие монотеистические религии, христианство и ислам, унаследовали от Эхнатона и Моисея не только порыв к вездесущему добру, они унаследовали также их нетерпимость, и эта нетерпимость резко ухудшала положение зачинателей монотеистической революции. Временами оно граничило с положением прокаженных. Но та же нетерпимость терзала и сами вероисповедания, в религиозных войнах между мусульманами и христианами, суннитами и шиитами, католиками и православными, католиками и протестантами.

Религиозная нетерпимость нашла свое продолжение в идеологической нетерпимости, а нетерпимость, обращенная на богов и духов природы, была мощным фактором рационализации человеческих отношений с природой, которую оплакивал Шиллер, превознес Макс Вебер и снова осудили экологические активисты. Линн Уайт и А.Дж. Тойнби видят в Библии один из источников экологического кризиса¹.

Нетерпимость — не всегда зло. Многое зависит от того, к чему мы нетерпимы. В иных случаях пороком становится терпимость (к хамству, халатности, ксенофобии). "У вас нет врагов, дружок? Здесь нечем хвастать", — писал английский поэт (кажется, Мур). "Вы никогда не повернули кривду в правду. // Вы были трусом в битве."

Нетерпимость — зло, когда она обрушивается на различия, не затрагивающую глубину духа. Нетерпимость становится благом, отсекая глубинную мерзость. Так можно понять слова Христа: я принес не мир, но меч.

Христос был нетерпим к греху — и снисходителен к грешникам. Это смущало, сбивало с толку евреев. Большинство евреев не поняло Христа. Но большинство христиан его также не

¹ Основные возражения их противников сводятся к тому, что экологическая напряженность гораздо старше Библии; что одним из источников хищнического отношения к природе был греко-римский рационализм; что китайцы, не знавшие Библии, вырубали все леса в долинах рек Хуан-хэ и Ян-цзы (их подталкивал рост населения).

понимают. Христиане смешивают грех и грешника ничуть не меньше, чем иудеи. Отчасти в этом виновен язык иудеохристианской традиции. В самом слове "грешница" есть что-то, требующее побить ее камнями. Или, по крайней мере, ударить (словом, взглядом). Когда Христос хотел призвать к снисходительности, он сказал: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят". Здесь ключевое слово — "неведение". Как у Будды и буддистов. Грешника надо побить, неведающего — научить. Христос только однажды поднял бич. Все остальное время он учил. Но христиане остались в плену слов: грех, грешник, грешница; первородный грех; грех богоубийства; грехи отцов... Мудрено ли, что инквизиторы стали жечь еретиков, колдунов, ведьм — и заодно евреев, совративших христиан в свою старую веру или просто непочтительных к знакам веры новой.

Язык Будды, язык Индии мягче, терпимее. И в истории буддизма скорее излишек терпимости, снисходительности к злу, чем чрезмерной суровости. Здесь снова хочется вспомнить отличия средиземноморской логики (черное или белое? огонь или вода?) от логики индийской и дальневосточной. В которой нет резкого противопоставления добра — злу, истины — лжи. В которой истина мыслится невыразимой, а все высказанное — неполным и недостаточным, а поэтому не толкает к резким и непримиримым противопоставлениям (неизбежным, если истина полностью высказана и противостоит обличенной лжи).

К чему это вело практически? Возьмем для примера касты. Допустим, что касты — бесспорное зло (на самом деле это очень не простой вопрос. С кастовым делением — как и с классовым делением — связано много зла, и все же бескастовое общество не всегда лучше кастового. Однако для примера я упрощаю дело). Буддизм (там, где он победил, на Цейлоне) смягчил кастовую систему, снял ее крайности, но упразднить ее не смог. Ислам, проникнув в Индию, упразднял касты (для всех, кто принял истинную веру). Пережитки кастовых делений остались на уровне бытовых привычек, но религия Мохаммеда их не поддерживает (как индуизм), не игнорирует (как буддизм), а прямо отрицает. Монотеизм решительнее в борьбе со старым злом, с тем, что он застает в традиции, сложившейся до его возникновения, до его прихода. Буддизм обладает меньшим реформаторским пафосом, он скорее сживается со старым злом, примиряется с ним. Разница не безусловная, —

скорее, больше и меньше, чем да и нет. Но разница есть. И на первый взгляд — в пользу монотеистической революции.

Однако зло хитрее, глубже укоренено, чем кажется на первый взгляд. Сама борьба со злом создает новое зло. Все лекарства — яды, и энергичное лечение создает новые болезни. Индия вяло боролась со старым злом — с племенной и кастовой ограниченностью, с кастовым высокомерием, с застыванием в архаических началах. Но зато Индия породила меньше нового Зла.

Монотеизм — это религиозная революция, а все революции создают новое зло, иногда меньшее, чем старое, иногда большее. Монотеизм возник на почве, тяготевшей к революциям, и усилил эту тенденцию, внес свою лепту в революционные процессы. Насколько велика его роль — трудно сосчитать (потому что рядом действовали другие силы). Но есть серьезные основания искать корни современных кризисов в старых конфликтах, из которых выросли монотеистические религии и которые они породили.

Монотеизм, — по крайней мере, еврейский и особенно христианский монотеизм — перевернул отношение нового и старого. В обетовании Мессии, а потом второго пришествия Христа, было (как уже говорилось) обещание золотого века впереди, а не позади, в прошлом. И в постановке Нового Завета выше Ветхого была идейная бомба замедленного действия, может быть, решающая для перехода к фаустовской цивилизации (в исламе эта бомба обезврежена положением Мохаммеда, как последнего пророка).

Идея религии третьего завета у Иоахима Флорского и идея прогресса у Кондорсе — ереси, которые могли вырасти только на иудео-христианской почве, подготовленной психологией диаспоры и средневековой церкви, странницы во всех землях. И тоталитарный социализм впервые оперился на этой же почве, унаследовал от христианства его нетерпимость единственной истины. Чтобы стать действительно альтернативой тоталитаризма, религии предстоит освободиться от того, что привело к нему, иначе альтернатива окажется ложной и возвращение к вере примет форму нового тоталитаризма в духе Хомейни.

Обновление религии требует глубокого и нелегкого переосмотра отношений между духом и буквой, в дзэнских терми-

нах: между луной и пальцем, указывающим на луну. Этот пересмотр не может быть простым; но начать его нужно. Саморазрушительные тенденции XX-го века очень сильны. Весь мир превратился в кошмар Раскольникова, описанный в эпилоге романа: кучки людей, охваченных фанатизмом окончательной истины, готовы уничтожить друг друга, и современная техника дает им в руки достаточные средства.

Религия сможет успешно противиться безумию только в том случае, если она сама излечится от него. Нельзя лечить политических маньяков, оставаясь маньяками религиозными, не освободившись от идеи своей безусловной правоты в вере. Безусловен только дух, веющий всюду (и потому простится хула на Отца и Сына, но не простится хула на Святой Дух). А системы символов и обрядов — только дорожные знаки, указывающие душе ее путь. Каждый человек может выбрать тот путь, который ему лучше подходит. Он может выбрать веру отцов, но только в том случае, если это выбор его собственного сердца (а не только традиция). И религия детей может отличаться от религии родителей так же, как характеры потомков не повторяют характеров предков.

Важно начать перестройку сегодня. Важно понять, что фундаментализм Каддафи или Хомейни — такое же изуверство, как коммунизм Пол Пота. Глубокая и полная перестройка потребует веков духовной работы. Но сами катастрофы, которые ожидают человечество, будут подталкивать становление вселенского духа понимания. Так же, как крушение Римской империи подтолкнуло становление христианства.

Я не вижу другого выхода для человечества, кроме диалога религиозных мирозерцаний, до некоторой степени напоминающего диалог национальных культур Европы. Модель европейской культуры, в которой нет главной нации, а все ведущие нации перекликаются в борьбе за временное первенство, как инструменты в оркестре, — может и должна стать моделью мировой системы культур. Ни буддизм, ни индуизм, ни конфуцианство не должны исчезнуть. Нам есть чему учиться у них, и им есть чему учиться у нас. И пусть Бог поможет нам всем освободиться от гордыни вероисповедания.

3. Возражения и ответы

Первый вариант этой работы вызвал ряд возражений. Некоторым показалось, что я хотел бы смешать все вероисповедания. Я этого вовсе не хочу. Хотел бы — диалога, в котором каждое вероисповедание полностью сохраняло бы свое лицо и скорее окрепло в верности своему пути к истине, — не считая его, однако, единственным путем; не приписывая своему *сердечному* выбору (Христа, Будды, Кришны) характера общей нормы. Я добиваюсь отказа от гордыни вероисповедания, добиваюсь диалога, основанного на понимании субъективности и односторонности всякого исповедания веры в слове и знаке. У меня нет призыва к созданию эклектической мировой религии.

Я убежден в нескольких простых истинах:

1. Ни одна мировая религия не имеет абсолютного преимущества перед другими. Она выявляет в наибольшей полноте один какой-то аспект вечного. В терминах Троицы, это религия Отца (ислам, иудаизм), Сына (христианство) или Святого Духа (буддизм). Или чередование всех мыслимых аспектов религии, но без отсеечения грубого примитива, без четкой структуры (в индуизме).

2. В каждой религии существует бесконечное множество групповых и личных духовных оттенков, и эти различия важнее, чем различия символов веры (которые в принципе все единосущны и равночестны). Важно различие между Франциском и Домиником, между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Они разного духа. Не важно различие между св. Франциском и преп. Нилом Сорским. Они одного духа. Более того. Единый Дух, веющий, где хочет, охватывает святых не только христианства (разных вероисповеданий). Между Хуи-Нэном, ал-Халладжем, Чайтаньей, Баал Шемом, схимонахами Силуаном, Томасом Мертоном есть различия индивидуального склада и культуры, но эти различия гораздо менее важны, чем Святой Дух, который дышит в каждом из них. Решает духовная глубина и чистота, а не слова и жесты. "Кто часто молится, тот и богослов"¹.

3. Религиозные идиомы поддаются переводу, и этот пере-

¹ Силуан.

вод — не только средство понимания друг друга, какие мы были и есть. Он дает нечто новое, третье. Например, буддист говорит, что "я" иллюзорно; христианин — что "я хуже всех". Отсутствие "я" (анатта) — математический предел, к которому стремится христианское умаление самости. Суть в том, что "одна капля твари вытесняет всего Бога" (Экхарт), что "если бодисатва... подумает о себе: "Я — бодисатва", — то в этот самый миг он перестанет быть бодисатвой". Суть в том, что сознание "я" мешает опыту единства и должно быть устранено, а как это сделать — чисто практический вопрос. В сознании "я хуже всех" есть упор на умаление перед вечным, без анализа структуры "я". Учение об анатте дополняет нравственное усилие интеллектуальным (анализ показывает, что единство "я" не бесспорно, и в пределе "я" вовсе нет). Обе формулы по сути не противоречат друг другу и могут употребляться друг рядом с другом или друг вместо друга. Обе ведут к упразднению малого "я" (эго) и становлению большого "Я", "сильно развитой личности" (а не к упразднению личности). Сближение христианской и буддийской точек зрения укрепляет их обеих против позитивизма, для которого большого "Я" вовсе нет и упразднение малого "я" ведет к нулю.

Другой пример — сравнение павловой дихотомии закона и благодати с индуистским учением о четырех путях (кармы, йоги, джняны и бхакти). Кармамарга (путь действия, исполнения своих обязанностей) — это путь Закона. Бхактимарга (путь любви) очень близок к благодати; в некоторых легендах благодать (Шивы, например) дается вору, растратчику, но беззаветно любящему Бога. Однако, жесткой дихотомии закона и благодати нет. И путей существует не два, а четыре. На равных правах с бхакти включаются путь йоги (аскезы) и путь джняны (духовного знания), — что само по себе исключает дихотомию, дуализм, двойственность...

Не буду останавливаться на диалоге понятий греха и неведения (об этом в тексте). Третий пример — диалог христианских и китайских понятий о власти. Ап. Павел не создал законченного учения о власти. Отдельные высказывания его формально противоречат друг другу, и нигде не дана иерархия текстов. Можно установить иерархию, опираясь на слова Христа: "Богу Богово, а кесарю — кесарево". Т.е. принцип покорности власти отменяется, если нарушен принцип покорно-

сти Богу (Павел это понимал; он говорил: надо покоряться Богу прежде, чем людям). Но бывают и другие случаи оправданного неподчинения властям, кроме сопротивления кощунству. И вот тут мы можем вспомнить китайскую теорию "мандата" или — в более точном переводе — "повеления" (мин). Невозможно удержать власть без мандата Неба (тяньмин). Но повеление Неба не вечно и не безусловно. Власть теряет его, погрязнув в произволе и разврате. Тогда происходит передача (или смена) мандата — гомин; и наступает эпоха нового мандата, синьмин. Термин "гомин" используется китайцами как синоним европейского слова "революция". Это *консервативная революция*, революционное возвращение к погрязшим древним святыням и заповедям. Мне кажется, термины "тяньмин", "гомин" и "синьмин" очень обогатили бы политическое богословие монотеистических религий.

Я не привожу дальнейших примеров. Достаточно немногих, чтобы показать общий характер задачи, частности же ее бесконечно разнообразны. Иногда термины параллельны, иногда восточная мысль идет поперек и в сторону, но ее всегда надо знать. Я ввел бы в каждой высшей школе знакомство с основными терминами восточных культур. Это можно начать уже сейчас и было бы очень хорошим началом. Не только для выхода из культурцентризма, но и для выхода из эгоцентризма.

Пропать между отдельными людьми и группами людей в нашей цивилизации ничуть не меньше, чем пропасть между китайской и французской культурой. Иногда она даже больше. Во всяком случае, практически ее трудно преодолеть. Потому что основы больших культур веками, тысячелетиями записывались, и можно их изучать. А личные идиомы нигде не записаны, никем не приведены в систему. Привычка иметь дело с идиомами, разгадывать идиомы, вдумываться в идиомы — очень облегчила бы общение не только на межконтинентальном уровне, но и за чайным столом. Владение несколькими языками символов ослабляет тиранию буквы, запрещает превращать идиомы в аксиомы и навязывать свои аксиомы всем и каждому. Требование перейти от буквы к духу становится повседневным, безотлагательным. А кто стучит в дверь, тому она откроется. Когда, как? Не знаю. Знаю одно: пока не падет тирания буквы, пока разные культуры и веры не познают друг друга в едином духе, пока выше всех символов не утвердится

”круговая порука добра”, — человечество не сдвинется с края пропасти, на котором повисло после двух мировых войн. Опять будут маячить призраки светлого будущего, — социального или национального; опять будут повторяться попытки устранения помех; опять будут возноситься и рушиться в бездну позора ложные пророки. И опять будут возникать и рушиться справедливые (по замыслу) и тоталитарные (по исполнению) системы.

Как можно говорить о диалоге разноликих культур в современном мире, где даже два человека не могут договориться? Об этом меня спрашивали многие друзья, — и я отвечаю: а как можно не говорить об этом? Именно в мире, разорванном на клочки? В мире идеологических блоков? В мире этнических конфликтов, достигших ярости религиозных войн? Чем больше распрей, чем больше непонимания и нежелания понять друг друга, тем сильнее призыв к поискам общей правды, тем настоятельнее нужда отбросить самые острые, самые неотложные задачи — и заняться неотложнейшей задачей: поисками понимания в едином общем духе.

Ряд частных возражений основан на чувстве поклонения перед Библией. Библия говорит нам об Аврааме, Исааке, Иакове — кто дал право зачеркнуть это предание? В Библии повсюду виден земледельческий быт, любовь к возделанной земле, идут один за другим земледельческие праздники. И нет торгового быта, нет торговых метафор, которыми полон язык Евангелия и Корана.

На это можно ответить: история начинается не с первых страниц Библии. ”Вначале сотворил Бог небо и землю”, — это еще миф. И Авраама с его стадами я отношу к мифологии, вместе с сотворением мира, грехопадением Адама, Ноевым ковчегом и возникновением хамства. История начинается, по моему, с Исхода (где за облаком легенды проступают исторические факты). Принимая пастушеское состояние ядра еврейского народа на веру, мои оппоненты должны объяснить, как произошел переход к земледелию (кочевые скотоводы к земледелию не переходят, кочевое скотоводство не предшествует земледелию, оно скорее следует за ним, отделяется от него и развивается параллельно). Гораздо вероятнее на землю мог

осесть народ, живший в египетских городах, а потом вышедший из них, как вышли из Европы нынешние сабры. Торговые метафоры в языке Библии редки потому, что Библия создавалась через несколько сот лет после Исхода, в среде, гордившейся обретенной землей и не желавшей помнить о своем презренном прошлом (а потому и забывшей его). Скорость забвения в жизни народа очень велика, — достаточно двух-трех поколений для совершенной перемены многих фактов. Это показали этнографы, записывавшие африканский фольклор с интервалами в несколько десятков лет. Истории для фольклора не существует, и если структуры племен переменялись — идеальное прошлое-вечное также меняется. Кое-какие следы психологии диаспоры в Библии, однако, остались: "Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей" (1, 15, 13), — и проч.

Связь монотеизма с психологией пришельца, странника ставилась под сомнение и в случае ислама. Отмечалось, что ислам был отвергнут купеческой Меккой и укоренился в земледельческом Ясрибе (Медине). Это верно, но для успеха ислама в Ясрибе важна не столько социальная, сколько религиозная структура города. Ясриб был населен четырьмя племенами — двумя языческими и двумя иудейскими. Будущие мусульмане Ясриба успели сжиться с соседями-монотеистами, были отчасти распропагандированы ими (это нетрудно предположить), но от перехода в иудаизм их удерживало то же, что и большинство других племен: сложный закон, обширное писание на непонятном языке, — то, что в течение всей истории изолировало иудеев. Свой собственный, арабский пророк с откровением, легко заучиваемым наизусть, был прямо для них создан. Мохаммед пожал здесь жатву, которую не он посеял.

Существенней, однако, другое: все, что случилось после бегства Мохаммеда в Ясриб, относится не столько к возникновению ислама, сколько к его распространению. Мохаммед в Ясрибе (переименованном в Медину) быстро превращался в талантливого, гибкого, временами коварного политика, и стремительный успех его связан с использованием отнюдь не только религиозных чувств. Между Мохаммедом в Мекке и Мохаммедом в Медине — разрыв, как между Христом и Константином. Путаает, сбивает то, что перемена произошла в одной и той же личности. Но перемена эта огромна.

Возник ислам в голове и в сердце мекканского Мохаммеда. Ислам (как и буддизм, и христианство) — религия исходно авторская (а не фольклорная). Поэтому для возникновения ислама важнее всего психология его создателя, мекканского Мохаммеда, воспринявшего призыв монотеизма от исторически старших религий (иудаизма и христианства). А Мохаммед был странник, каравановожатый, купеческий приказчик, и прежде чем услышать Бога, он много бродил по земле (и слышал много рассказов о разных верах).

Другое дело — распространение мировой религии. Она нигде не укоренилась в месте своего рождения. В каждой истории своя хиджра (бегство Мохаммеда из Мекки). Христианство бежало из еврейских общин, в которых оно нашло своих первых исповедников, к язычникам. Стадиальная аналогия хиджры — "несть во Христе ни эллина, ни иудея". И буддизм, в конечном счете, переселился из Индии в другие страны. И марксизм, родившись в Германии, укоренился в России, Китае, Вьетнаме. Где он заведомо не мог родиться.

Почему это так происходит — вопрос сложный. Отчасти я уже касался его в статье "О причинах упадка буддизма в средневековой Индии". Но для понимания неудачи Мохаммеда в Мекке достаточно одного: несть пророка в своем отечестве.

Иисус не мог творить чудеса в родном Назарете, где все помнили, как он родился в семье бедного плотника Иосифа, как он играл с мальчишками и проч. Так и мекканцы не верили чужаку из рода Хашим. Прибавьте еще их высокомерие завоевателей культурного центра Аравии — и наоборот: зависть ярибцев (будущих мединцев) к богатой Мекке, желание отбить гегемонию... Новое часто подхватывают варвары. Но социализм создали не рабочие, и христианство — не те бабки, которые заполняют сегодня церкви.

Некоторая сжатость моей трактовки проблемы армянской, сирийской и ассирийской диаспоры вызвало впечатление, что я стараюсь поставить религию в слишком прямую причинную связь с социальной структурой. Это не так, в "Страстной односторонности" (где проблема неправославных церквей трактуется полнее) я отмечаю, что не все народы, исповедовавшие монофизитство, несторианство и монофелитство, были диаспоризированы (копты остались в Египте). Но на вопрос надо взглянуть шире. Преобладающий выбор неправославных ре-

лигий характерен для народов, оказавшихся в центре процесса становления православного византийского этноса и не желавших в этом этносе раствориться. Религия была для них этноформирующим, этнозащитным фактором, — что объединяет их с евреями и позволило многим из них пойти по пути диаспоры (спасаясь от гонений бегством). Опыт показал, что армяне, несмотря на весь ужас геноцида, проведенного турками, сохранились лучше, чем копты.

Что касается народов окраин, то они в византийский этнос втягивались слабо. Египет с его Фиваидой *тогда* входил в центр восточного христианства, Эфиопия и Румыния не входили, и выбор религии в этих странах диктовался только одним обстоятельством — какие проповедники принесли благую весть. К румынам пришли православные, к эфиопам — монофизиты. К нашей проблеме румыны и эфиопы одинаково не имеют отношения.

Ряд возражений вызвало то, что с моей точки зрения, — история евреев постоянно вращается между землей обетованной и изгнанием, и если спросить, что важнее (или, на марксистский лад, что первичнее), то я склонен скорее подчеркнуть роль диаспоры (чем, впрочем, вовсе не ставится под вопрос необходимость земли обетованной, в прошлом, настоящем и будущем). Я не отрицаю жизненности сионизма, но восстаю против его идеологической гордыни, против его убеждения в абсолютной ценности земли, ничтожества диаспоры и изменности ассимиляции. Я убежден, что в истории евреев периоды диаспоры не были чем-то пустым и что процесс ассимиляции, убийственный для физического существования малого народа, — не простое бегство от своего долга. Во многих случаях это жертвоприношение единому духу, единому Богу. Ассимиляция евреев в немецкой, французской, русской, американской культурах глубоко плодотворна и оправдана (об этом говорят многие имена). Но должно сохраняться нечто и для следующих жертвоприношений, и потому оправдано движение к диссимляции и к формированию особого израильского народа и израильского государства. Думаю, что сила Израиля и сила еврейской диаспоры скорее складываются, чем вычитаются; и в плане духовного диалога, и в плане внешней политики, которая часто заикливается на местных проблемах и теряет пони-

мание глобальных задач, обязательных и первоочередных для ВСЕХ народов. К сожалению, этого многие не понимают и в самом Израиле, и среди его болельщиков.

Я убежден, что трагизм еврейской судьбы — не столько во внешних гонениях, сколько в незримом гетто Закона, в противоречии между мировой идеей и замкнутым воплощением. Но указание на трагизм не есть отрицание. Я не отрицаю никаких народов диаспоры (евреев, армян и проч.); я просто пытаюсь понять внутреннюю динамику их существования, которая в обозримом будущем не может принципиально измениться.

Если с этой точки зрения подойти к ближневосточному узлу, то прежде всего надо решить, как судить его: с точки зрения общих стандартов (как язычников) или с точки зрения нормы, провозглашенной евреями: будь милостив к чужаку, пришельцу, ибо сам ты был чужаком, странником в земле египетской... С первой точки зрения все в порядке. Евреи согласились с планом раздела Палестины, принятым ООН. Не согласились арабы, выбрали войну — и проиграли войну. В ходе военных действий арабские войска были вытеснены из всей Палестины, за исключением клочка, сохраненного за Египтом под давлением Англии, и территории, которую удержал арабский легион под командованием английского генерала Глабба. Семьсот с лишним тысяч арабских беженцев остались без крова (цифра ООН. Израильтяне доказывают, что беженцев было не более 500 с лишним тысяч, арабы называют цифры в 900 тысяч, миллион, миллион 300 тысяч). Одновременно более полумиллиона евреев из арабских стран бежало в Израиль, спасаясь от погромов и угрозы полного уничтожения (и такое было — в Йемене). Таким образом, произошел вполне эквивалентный обмен населения. Израильтяне беженцев ассимилировали, устроили. Арабские страны ничего в этом плане не делали и искусственно сохраняли язву беженства в лагерях, которые кормились за счет ООН. Если большая часть беженцев (не менее 75%) ныне оставила лагерь и как-то устроилась, то по собственной инициативе, государственной помощи она для этого не получала. В лагерях сложилось поколение людей, развращенное бездельем, а также постоянно разжигаемой ненавистью к Израилю. Израиль в этом не виноват и вправе защищаться. Сравнить действия в Ливане с геноцидом могут только идиоты, не пони-

мающие значения слов, или демагоги, скрывающие своим криком собственные планы геноцида.

Но если взглянуть на дело со второй точки зрения, то все болит. Бегство арабов из Палестины было спровоцировано террористическими организациями, одной из которых руководил будущий премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Менахем Бегин. Среди беженцев бесспорно были участники антиеврейских погромов 1929 и 1936 годов. Но не все беженцы — погромщики. А сейчас в лагерях живет другое поколение, не виноватое ни в призывах иерусалимского муфтия (союзника Гитлера), ни в опрометчивой и болезненно самолюбивой политике арабских стран. Палестинские арабы почти нигде не "всосались", не стали полноправными гражданами. Попытка еврейской диаспоры перестать быть диаспорой, обрести новое бытие в земле обетованной породила новую диаспору, палестинскую. С чисто политической точки зрения, таким образом был создан слабый, но неуязвимый и очень долговечный противник. Армянская диаспора через 60 с лишним лет возобновила войну с Турцией, и нет надежды, что арабско-палестинская диаспора будет менее устойчива в своей ненависти. А общий политический климат в мире благоприятнее для палестинских террористических организаций, чем для армянских. Время от времени возникает и будет возникать гремучая смесь, в которой палестинцы играют роль детонатора. От террора можно (и нужно) защищаться. Но как защищать себя от чувства совиновности в страданиях беженцев?

Пока дело шло о столкновениях израильской и египетской (или сирийской) армий, мое сочувствие, как правило, на стороне демократического и правового государства Израиль, а не тоталитарных. Но почти каждый успех израильского оружия был связан с новыми страданиями беженцев и с новыми аннексиями. Первое, по-видимому, трагически неизбежно, но совесть решительно отказывается оправдать второе. Чтобы защитить себя, достаточно оккупации (и то — на время, до мирного договора). Зачем аннексии?

Национальный очаг евреев в Палестине оправдан историей, но он вовсе не непременно должен быть могучим государством со смертоносным воздушным флотом и ударными танковыми дивизиями. То, что сейчас иначе не проживешь, я понимаю. Однако над необходимостью сегодняшнего дня гос-

подствует (в моем сознании) нравственная необходимость признать право палестинской диаспоры на свой национальный очаг. Опять-таки — без мощных вооруженных сил и агрессивных намерений...

Знаю, знаю: сегодня это невозможно. Пусть невозможно. Дверь для нравственно правильного решения всегда должна быть открыта. Вина Израиля — не бомбежки, а сам факт его существования, как преуспевающий бизнесмен Левенталь смутно виноват перед спившимся антисемитом Олби в романе Сола Беллоу "Жертва". Это кажется нелепостью, чушью, но в конце концов все мы друг перед другом виноваты. И все должны думать, как помочь чужаку, страннику.

Если мировая печать и мировое общественное мнение относятся к действиям Израиля не так, как к действиям Турции, то это не простая несправедливость и не только куплено за нефtedоллары. Туркам бесконечно много простили, потому что от них и не ждали ничего хорошего. А от евреев ждали. И ждут. И то, что ашкеназим (европейские евреи), собравшиеся в Израиле, оказались в плену у своих собственных ястребов и сефардим (выходцев из арабских стран), привыкших к законам междоусобий, — очень тревожный поворот событий.

От евреев все время чего-то ждут, чего-то большего, чем от прочих народов. Или великого добра, или великого зла (отсюда легкоеверие к протоколам сионских мудрецов, к писаниям Емельянова, к житиям Евстратия и Гавриила и т.п.). Нелепость? Да, нелепость. Но есть в этом ожидании правильное (хотя и смутное, и мистифицированное) понимание структуры еврейского народа. Я писал (в других статьях), что евреи резче многих поляризованы между добром и злом. Сегодня — будь благословен, сын Давидов! А завтра — распни его! Тысячи бескорыстных подвижников культуры. И тысячи сотрудников ЧК... Евреи, конечно, люди как люди (в массе это так), но на их плечи легла какая-то особая задача. Непосильная для большинства задача. От которой они бегут — из России в Израиль, а из Израиля в Америку.

Нынешний Израиль основан атеистами, которые немислимых задач себе не ставили. Ставили реальные задачи и эти задачи решали. Если сравнивать с прыжками России, Китая, Вьетнама в светлое будущее — завидки берут. Но Израилю, как проку Ионе, никуда не деться от сверхзадачи — явить миру об-

раз выполненного закона: будь милостив к пришельцу, чужаку, страннику, ибо сам ты был странником в земле египетской. Либо Израиль станет домом каждого странника (в том числе палестинского), либо Бог еще раз отвернет свое лицо, и героизм не спасет защитников Массады. Когда? Через пятьдесят, полтораста, двести пятьдесят лет... — откуда я знаю? Время новой земли обетованной еще только началось: при осторожной, трезвой, мужественной политике его можно растянуть, дать созреть плодам, которые не раз уже созревали на почве Палестины. Но невозможная, невыполнимая, фантастическая задача все время стоит перед Израилем, и если он не выполнит ее, то не вырвется из своей судьбы.

Я возвращаюсь здесь к тому, с чего начал: к диалогу мировых религий. Иудаизму (как и другим вероисповеданиям) рано или поздно придется осознать ограниченность свою и вырваться из нее, вывести евреев из духовного гетто. Героическое одиночество Израиля (сменившее кафкианское одиночество человека диаспоры) может быть преодолено только в открытом и одухотворенном диалоге. В котором постоянно сознаешь свою скудость и ищешь выхода из нее (как и другие — в нас). Ибо мы сплошь и рядом выгнуты в противоположные стороны.

Я не склонен сурово спрашивать с отцов, с евреев России, захваченных вихрями российской судьбы. Не они создали русский революционный процесс. И большинство решений Абрамовичам, Мартовым, Данам, Троцким — приходилось принимать, не успев даже разобраться, кто они — евреи или русские или и то, и другое, и насколько первое, а насколько второе. Но в Израиле евреи у себя дома. Их собственная суть не выступит для них в отчужденном облике православия со святыми Евстратием и Гавриилом, священным синодом и Союзом Михаила Архангела. И время настойчиво требует разобраться в своей собственной духовной и нравственной сути. И решать свои задачи как граждане мира, а не только маленькой ближневосточной страны. Все равно никто не будет судить конфликты Израиля с соседями как резню арабов с курдами или с иранцами. Все, что касается Израиля, неизбежно приобретает мировое значение, и надо быть достойным этой чести.

Мир в целом стоит перед тремя смертельными угрозами: экологического тупика, термоядерной войны — и тоталитарии

зма. Причем это не альтернативы, а три головы одной гидры. Что бы вы ни выбрали, вы выбираете всех.

Мир в целом становится миром масс, в котором личность не растет (и не дорастает до своих задач), а мельчает. И с каждым днем все беспомощней (терроризм — одно из следствий упадка личности. Агрессивность — от страха, от беспомощности, а не от внутренней силы). Мир в целом напоминает шарик Галича, который вертится — и все время не туда. Мир в целом потерял почву, потерял корни и ждет катастрофы, как еврейское местечко — гайдамаков. Решающая проблема не в том, сохранится ли государство Израиль, сохраняются ли евреи как нация или ассимилируются и т.п. Если мир в целом уцелеет, то и евреи, разбросанные по многим странам, где-то уцелеют, и какая-то часть сохранит свое религиозное лицо. Но уцелеет ли мир? Не знаю. И если биосфера будет разрушена радиоактивными осадками, то победы израильского оружия на Синайском полуострове, на Голанских высотах и в Ливане никого не спасут. В том числе евреев.

Первая задача каждого народа — не его национальная безопасность, а глобальная. Этой цели должно быть подчинено все. И на политическом, и на научном, и на религиозном уровне. И пусть тот, кто первым решит ее, покажет пример другим. А другие безо всякой гордыни подхватят этот пример.



НОВАЯ
КНИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"СИНТАКСИС"

Олеся Николаева

АПОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Человек умирает, и на третий день его облик изменяет ему, на девятый — начинает тлеть его тело, на сороковой — сердце.

Так оканчивается человек.

На третий же день он делается ДРУГИМ. В дом без хозяина набиваются воры, разбойники, бродяги, бомжи.

Иногда хочется крикнуть: "Да ведь это совсем НЕ ОН!" И тогда отвечают: "Успокойтесь, гражданочка, это все нервы, нервы". Потому что — если не он, то КТО?

Говорят, что покойник безобразен и страшен и лучше на него не смотреть. Заглядывают ли без трепета и без жути в дом, у которого окна черны, проводка оборвана, провалился пол?

Безобразен тем, что безобразен, и страшен тем, что он пуст. Нету в нем его самого — и стал он другой. Покинуло человека его свое — и он стал чужой.

Но и пустые мысли полны лукавства, вздора и непотребства, а гнездо разоренное полно хищения, отчаянья, страха. Так и его пустота обоюдоостра, полна чем-то инородным прежнему — неподъемной тяжестью безличного "стемнело" и "моросит".

Отошел от человека дух Божий — и пришел СТРАХ.

Живые сидят и поминают покойного с горячей чаркой в руках. На кладбище — вечно дождь косой, мелкая сетка, ветер призывает насквозь.

"Он любил сырные корки. Бывало, принесу сыр, а он

корки-то не дает отрезать и выбросить, говорит: дай мне, я съем.”

”А мне, помнится, блестящую такую острогу сказал: у нас, говорит, любой человек имеет полное право... предъявить документ.”

Живые жмутся друг к другу, обессиленные человеческим теплом, мертвые — уже стали другими, а тех — не найти.

Но живет человек, и он — это именно ОН. Всякое удивительное и чудесное происходит с ним — даже без его ведома, без его трудов.

Что-то такое горит в нем, светится, и он мягок и податлив, как теплый воск. И дыхание его, как горячее облако на ветру. Глаза его устроены весьма остроумно и освещаются изнутри. Черный зрачок расширяется навстречу тьме. И все, что совершается с человеком, написано у него в глазах.

Весь он в упругой узорчатой коже, очерчивающей предел: вот здесь человек заканчивается и начинается мир. Болезненные на ней ссадины и царапины и уродливы шрамы, рубцы. Даже слабые ветки могут оставить их.

Словно миллионы рабов трудятся день и ночь на него. Словно какой невидимый муравейник копошится в нем: что-то вечно туда-сюда снует, торопится, на бледной его жаровне перегорает-варится — то на черный день тонким слоем под кожей откладывается, уплотняется, то, как нитки с катушки, разматывается, истончается, на ветер пускается. И весь человек переливается, как водопад, — кто может его постичь?

Вечно что-то в человеке бьется внутри, колотится, гудит, постукивает, потикивает. Песок и гравий под ногою его хрустывает. Вышина небесная над ним посвистывает. Лучи пронизывают его с головы до ног. Помощь ему приходит с самых небес.

Разве мог бы он сам по себе хотя бы камень поднять, хотя бы руки свои согреть на лютном ветру, расколоть хотя бы малый орех?

И живоносное семя его под спудом накапливается, сгущается, тяжелеет, одолевает жаждою, умоляет: ”Излей меня! Дай мне там, в благодатной почве, в глубине покоя забыться и прорасти!”

Так продолжается человек.

Пока живет человек, непрестанно с ним происходит нечто, творится, выпадает на долю, случается и стрясается. Дорога его на буграх подпрыгивает, раздваивается, расчленивается, восьмеричной дробью шарахается на знак бесконечности, мелкой восьмушкой по нотному стану мечется — скрипичный ключ вконец заржавел, и ворота не отпираются.

...Несколько раз останавливался, озирался в испуге, пятился — почему-то оказывался впереди. Торопился, летел сломя голову, — и потому сильно отстал. Решил срезать угол, пройти напрямик и — заплутал. Заблудился, заплутался, потерялся, а оказалось — уже пришел.

В детстве мечтал сделаться дворником, с его утреннею метлою-лопатою по тротуару: шарк-шарк. Дом, в котором родился и вырос, крепкий добротный дом, долго разбивали большой кувалдой, далеко было слышно протяжное и торжественное: бум, бум! Женщина, которую безответно любил, расползлась вширь, тяжело ступает, и капельки пота у нее на лбу. Купил, наконец, японский сервиз за три тыщи в угоду же не — и по дороге разбил. Поехал в отпуск на юг — и сел на ежа.

Несуразная все-таки у человека жизнь, но и нелепицы драгоценны ему.

Шел, понурый, по пыльной дороге, увидал: вишня цветет. И улыбнулся ей.

Выбежал вон из дома — прямо в ливень, в грозу: досада выглядывала из глаз. Запахи облепили лицо. Пьяная жимолость, нежность до слез, жасмин мешали дышать. И — подивился сему.

Был разбужен раннею птицей и долго еще лежал, щурия глаза. И был благодарен ей.

Одна женщина любила одного человека, а он ее не любил. И это продолжалось много и много лет. А она неотступно молила Бога, чтобы Он отдал его ей. Но человек этот по-прежнему ее не любил.

И отчаявшись, она возопила к Богу, чтобы Он ее отпустил: разорвал эти сети и дал ей спокойно жить.

И Господь услышал ее молитву и отпустил ее.

И она почувствовала себя свободной и увидела, что день почти догорел. И еще она увидала, как жалок тот человек. Как он мелок и потрепан и некрасив. И еще она увидала, что он —

ДРУГОЙ. Оделся в его былые одежды и голосом его говорит.

Человек делается другим, когда от него отходит любовь. И весь он — как обгоревшее дерево с черным лицом. Тревога стоит у него в головах, и опасность бродит вокруг.

И если бы не было вечной жизни, можно было бы сказать так: человек умирает, когда его разлюбил Бог.

Один старый монах говорил: человек умирает на одном из двух полюсов — либо когда он не смог бы сделаться лучше, чем он уже есть, либо когда он не смог бы уже исправиться и подняться — продолжал бы катиться вниз...

Жила одна прекрасная девушка в захолустье, в обшарпанном, запуганном городке. И она повторяла: есть ли вообще в этой жизни какой-то смысл, если вот, например, где-то в дремучем лесу вырос прекрасный цветок, который никто никогда не увидит, то он — зачем?

И сама же себе отвечала, что да, и смысл есть, если, конечно, его красоту видит один лишь Бог.

И еще она говорила: мне кажется, что когда земля остывает, и осенние, такие серые, безнадежные начинаются дни, и шмелиная, стрекозиная радость мира затапывается в грязь, и листья, клеклые и безвольные, мечутся по земле, не могут места себе найти, и куда-то уходит ликующий летний свет, — это все потому, что мы так мало любили, в нас было мало любви, и мы не смогли это удержать, сохранить...

А потом она вышла замуж за столичного человека в зеленых, ядовитого цвета носках, с выраженьем отрыжки сытости на лице.

Жалок человек и потерян, когда изменяет себе. Словно кто-то другой начинает выглядывать из него. Новыми повадками его обкладывать, новыми ужимками начинять. На лице у него выписывать: "Ну а что такого-то? Ничего!" или "Вам-то какое дело? Ну да, это я! Я!"

Бедный все-таки, беспомощный человек! Как же он весь сжимается, напрягается, когда ругают его или даже когда кто-нибудь не согласен с ним! Как он весь кипятится, морщится,

чтобы доказать свою правоту. Как он ночью потом в постели ворочается, выискивая неотразимый, непререкаемый аргумент. А потом — впопыхах, сбивчиво выкрикивает его в затылок противнику и мучается, что сказал — не так...

Жалок человек и наивен и отзывчив на похвалу. Скажите ему что-нибудь приятное о его делах или о нем самом, и он тут же сделает к вам крохотный, чуть заметный шагочок.

И глаза у него непременно увлажнятся, расширятся, и что-то дрогнет в лице. И, словно ветер, теплое, сладостное волнение его всколыхнет. И он наморщит от напряжения лоб, чтобы это скрыть, и почешет нос, и ковырнет землю носком. И ему тоже захочется сказать вам что-нибудь этакое в ответ, поддержать, что и вы — неплохи. И он с участием потрясет вам руку, похлопает по плечу, заглянет в глаза. А потом, мысленно провожая вас взглядом, подумает: симпатичный все-таки человек! И совсем не глуп...

Даже большое добро, сделанное человеку, забывается им скорее, чем крошечная похвала. Свойственно человеку желание быть отмеченным, получить плюс — гирьку на весах бытия.

Неустойчив человек, то и дело делает крен: из стороны в сторону пошатывается, покачивается, словно маятник, подвешенный к небесам. То он мучается: "Я бездарен и мне тошно жить!" То — выкрикивает: "Я прекрасен, но это совсем не нужно здесь никому, этого не замечает никто!" И только заботы жизни заземляют, уравнивают его.

Жалок человек и наивен, когда говорит: "Оставьте меня в покое! Дайте же мне покой!" Потому что — если в нем самом нет покоя, кто может его ему дать?

И если оставить такого в пустой и оглохшей комнате — наедине с собой, — он сам начнет через весьма малое время рваться наружу, искать событий, людей.

Потому что страсти его, пребывая праздными, выползают наружу, присматриваются, к чему бы прицепиться, на кого бы напасть. Начинают шикать, шипеть, поднимая головы, перебраниваются на разные голоса. И мысли его раздваиваются, спорят между собой. Будто в пьесе какой, где действуют бранчивые А и Б. И чувства, не находя волнореза, разбалтываются, выходят из берегов. Начинается наводнение, ураган.

Гибнет княжна Тараканова в мутной темной воде.

Удивительно, как человек изворотлив, как он живуч! Чем только ни способен гордиться, хвастаться человек! Что только в себе ни отыщет, чтобы сделать точкой опоры, рычагом, мир поворачивающим к себе:

- У меня капуста самая круглая!
- У меня — самая больная в больнице печень!
- У меня — самые тяжкие, самые непростительные грехи!

Удивительно, как беспомощен человек, как хрупок, — словно обложенный скорлупой. Стоит ему лишь услышать тихое: "А я тебя не люблю", — как в нем что-то хрустнет, зазвенит, треснет, оборвется и тьмою зальет глаза. И тогда он резко так вскочит и лицо спрячет, и обхватит руками голову, и пойдет не разбирая дороги, и побежит, побежит...

— Заведу собаку, — говорит человек, — пусть она будет меня любить, видеть во мне своего хозяина, уважать. Будет меня безропотно слушаться, преданно глядеть мне в глаза, драться за меня и кусаться, а если надо, то и умрет за меня!

И прибавляет горестно: она ведь мне не изменит, не солжет, не предаст. И не скажет на меня никакой клеветы и не будет меня ругать. И не будет требовать от меня ничего, но только радоваться при встрече со мной и тосковать, глядя на дверь, пока не приду.

У одной женщины была мания, что все вокруг в нее влюблены. И она уже как бы не живет сама по себе, но проживает десятки жизней, теряющихся в лабиринтах чужих зеркал. И она захлебывалась от избытка собственного бытия.

А потом она стала старой, и потухло ее лицо. А те, кто когда-то встречал ее красивой и молодой, начали умирать, умирать... И однажды она грустно призналась: вот и я уже умерла. Просто где-то там, наверху, забыли вовремя выключить мою лампочку, и она продолжает тускло гореть.

Но гаснет тусклая лампочка, и следы человека обрываются у реки, зарастают мелким кустарником, затаптываются другими людьми. Трудно что-нибудь с достоверностью о нем сказать, разглядеть рисунок его судьбы. Доказать, что был такой

человек. И если спросят о нем: допустим, он действительно был, но если он был, то он — КТО?

В крайнем случае, можно ответить о роде его занятий: полководец, мытарь, поэт, или о степени его родства с теми, кто еще жив: муж тети Вари, дедушка Олега Петровича, ребенок Танечки с третьего этажа.

Говорят, человек штучен и неповторим. Никогда на свете не было такого же человека и не будет впредь. Только тот, кто любит его, понимает, что это — так.

И если не было бы того, кто способен это вместить, каждого человека знать по имени и в лицо, — суетна была бы вся эта бурлящая пестрота, сдерживаемая общими именами Петров и Павлов, Лазарей, Марий, Марф.

Бывает, человек перерастает самого себя. словно бы он приподнимается вдруг на цыпочки и смотрит на себя прежнего сверху вниз.

Все ему кажется исполнимым, податливым, как теплая глина в ловких зрячих руках. И глаза его победоносно поблескивают от избытка его желаний, от хмеля ума. И он чуть ли не пританцовывает, нет-нет, да и щелкнет пальцами, языком, мотивчик даже какой-то носится у его губ. И сладкое самозабвение окутывает его, как облако, плывущее над землей. И, очнувшись, он спрашивает с изумлением: "Неужели я сие сотворил?"

Но проходит весьма малое время, и он опять становится мал. Ветер поднимается ему поперек. Скукоживаются его амфоры, выливая вино. Крошатся его глиняные поделки — тяжелый, бурый песок. Да и сам он чувствует страшную опустошенность, упадок сил. Сумерки сгущаются на его лице, и даже тень делается темнее возле него.

И человек спрашивает себя: как? почему? Куда это делось, если я никому этого не отдал? И откуда взялось, если я сам ниоткуда это не брал?

Потому что — пока дух Божий на человеке, не равен человек себе самому.

Как же человек неустрашимо дерзок и при этом — как он труслив! Боится, как бы о нем чего ни подумали, как бы ни

сказали о нем чего. Боится, что все у него перед носом кончится и захлопнется раздаточное окно. Боится бедности, унижений, уколов, бормашин, клизм!..

А сам — захлебывается пеной ропота, выкатывает грудь колесом, борется, словно какой Иаков в ночи, собственному Создателю кричит: "Ужó!" И быстрыми такими шагами решительными идет во тьму.

Так обступают его лстивые демоны, дружелюбно хлопывают по плечу. "Ты еще ого-го, — говорят, — ты и сам с усам. Или, скажешь, мышцы твои за ниточки подвешены к небесам? Или, скажешь, мысли твои за веревки привязаны, словно стая собак? Или слова твои с языка срывает суфлер? Или ты, в зеркало глядя, рядом с собой видел кого еще?"

Задушевный такой, приятельский выстраивается разговор, и они уже панибратски так, запросто, на короткой ноге подщипывают его, подталкивают, замыкают кольцо. Вот-вот с затылка шапку ему сдвинут на лоб, поддадут легонько пинка. Шуточки-прибауточки. Воровская малина: коромыслом дым. Чье-то копыто опускается ему на ногу, лукавая рожа ощеривается ему в лицо.

"Ничего страшного", — вежливо так говорит человек, интеллигентно покачивает головой.

Удивительно все-таки человек изобретателен и хитер! Ведь, пожалуй, в девяти случаях из десяти, когда он явно не прав, он такую поразительную, вдохновенную нарисует картину собственной правоты.

Например, разве он не ужасен в гневе? не уродлив в злобе? разве в зависти — на очковую змею не похож? Даже черты его переломаны и черны: бездна выглядывает из глаз. Потрясает человек кулаками, кричит: убью! Ненавижу! — кричит и ходит весь ходуном. А и тут — найдет себе оправдания, приведет за руку свои "потому" — тонким таким становится он психологом, драматический выписывает сюжет. И потом — благородное негодование, понимаете ли, праведный, господа, гнев! Это — как у Шуберта неистовствуют басы: опус девяностый, четвертая часть.

Странное носит в себе человек чувство своей неловкости, стыда, вины. Словно готов у целого света просить прощения,

что он — не такой: то своего роста стесняется, то полноты с худобой. Волосы зачесывает с затылка на лысину, невзрачное лицо отворачивает, простоту свою до неузнаваемости маскирует, словно какое вещественное доказательство, улику против себя. Бедность свою за спиною прячет, прикрывает, как дверь. В благополучии — прибедняется, в праздности — кивает на головную боль. Проигрывая — хорохорится, палкой в землю стучит. Побеждая — так сдержанно начинает покашливать, озабоченное делать лицо.

Томится в тихом унынии, разоблачений боится, преобразования собственного не ждет.

Мнителен все-таки человек, непостоянен в мыслях своих, все мается своим желанием лучше жить.

Все-то ему мерещится — измени он что-нибудь здесь, переставь, поменяй местами это и то — сразу такое правдивое, гуманное станет у мира лицо. Получи он другого правителя, заведи порядок иной — и зло пойдет на попятную, скроется в куче песка. Солнце будет светить приятнее, прохладительнее станут дожди. И человек сделается блаженнее и все проблемы свои решит.

Негодующе поглядывает он на противников, которые стоят поперек — не проехать из-за них, не пройти. И сам себе говорит: это все они виноваты, это все из-за них! Перья дрожат на его серебряном шлеме, меч позвякивает на бедре: заманчиво человеку по-своему повернуть мир. А меж тем — вот уж который день он не может справиться с насморком: носит в руке платок.

— Суета, — говорит человек, — как же она изматывает меня! Если бы не было суеты, о, каким бы я был! Мысли свои додумывал бы до конца! Вглядывался бы пристально в происходящее и прозревал! Накапливал бы в себе золотые энергии, как пчела — мед. Возрастал бы, как кедр Ливанский — до самых небес.

А заглянет к себе внутрь — там неприбрано, темно, духота. Маленькие черные паучки висят по углам. Некуда приткнуться и — хоть шаром покати.

И опять человек выскакивает оттуда на бледный свет, гонится за чем-нибудь пестреньким, мелькающим впереди, отсвечивающим, рябящим, отвлекающим ум. Человек показывает на это пальцем и говорит: вот — жизнь.

Посмотрите на человека, когда он моет, чистит, украшает себя, тщательно скребет кожу, зажмуривает глаза, надувает щеки, намывая лицо. А потом — такой ровненький, тонкий проводит сбоку пробор и какой-нибудь даже галстук повязывает или шейный платок. А потом — новенький и нарядный — в зеркало на себя глядит, и такая даже как бы критическая складка у него между бровей, а на самом деле — ему неловко и себе показать, что он доволен собой, и он, поворачиваясь, немой задает вопрос: ну как?

И если ему сказать: да как ты наряден, как чудно твое лицо! — он ужасно смутится и расплывется в улыбке и пробормочет что-то невнятное себе в усы.

И тот, кто справа от него стоит, поглядывает на него с нежностью, с умилением, думая примерно так: прекрасен все-таки человек, когда он полон надежд, когда готов к чудесам!

А тот, кто слева располагается от него, посматривает насмешливо и надменно, норовит посадить пятно. Любит он человеческую досаду, огорченный возглас: "Ну вот вечно так!"

Хрупок человек, когда он полон надежд, и жалок, когда он машет на себя рукой. Когда он в черном теле своем сидит, когда сухими и настороженными глазами глядит.

Знает он тщетность своих трудов, знает невозможность своей мечты. Потому что мечта его упирается в небеса — мир не может ее вместить. Человек же зачем-то устроен так, что ничто земное не может его утолить вполне. Неудачником выглядит человек.

Он сидит покачиваясь на стуле, смотрит тяжелым взглядом перед собой. Ничего-то его не радует, ничего он не ждет, ничего ни у кого не просит, ничего не рассчитывает получить. И только старательно теребит больной зуб.

Ах, и у него был праздник, на который он охорашивался, улывался безо всякой причины, начинал петь некстати и невпопад. И кто-то непременно его любил!

А теперь он сидит один, с серой усталостью в скулах, в плечах, словно никто на свете давно не любит его.

Один юноша очень боялся армии и хотел от нее улизнуть. И об этом сказал одному священнику: понимаете, это такое место, где нет любви.

И священник ему улыбнулся и ответил так: что ты, мой дорогой! Там же люди... Люди! А там, где люди, — всегда любовь.

Посмотрите на человека, когда он празднует свой день рождения и все поздравляют его. Говорят ему: поздравляем, что ты родился, что ты прожил в этом мире столько-то лет. И мы пришли, чтобы радоваться тебе, радоваться тому, что ты есть!

И человек скромно отвечает "спасибо" и складывает подарки в углу. А потом — всех усаживает за стол и потчует. И все тут же едят и пьют.

Потому что — большой праздник, когда человек — ЕСТЬ. Воистину — это стоит того, чтобы устроить пир.

Эй, музыканты, громче, торжественней, веселей! Созывайте всех к человеку, всех, кто любит его! Всех, кто понимает, что он — это только ОН. Всех, кто не желает увидеть его — другим! Наслаждайтесь же человеком, радуйтесь же ему, глядите ему в глаза, обнимайте от избытка чувств. Сам дух Божий пребывает в нем!

Вот он — нынешний именинник, с каждым годом приближающийся ТУДА, хлопочущий о закусках, сетующий, что мало вина, оттирающий капнувший ему на брюки солнечный майонез, произносящий сбивчиво что-то этакое, возвышенное: в честь друзей, что-то во славу жизни, во славу ее Творца...

И даже если он вовсе не хочет праздновать этот день и, фыркая, говорит: нечему тут радоваться! Тоже мне событие! тоже мне фестиваль! — все равно радуйтесь и празднуйте, пойте ему хвалу, наигрывая на кимвалах и на тимпанах, велеречивых флейтах, нежных виолончелях, корнет-а-пистонах, органах, скрипках!

Потому что человек, покуда он есть, не принадлежит себе одному.

Анри Волохонский

СКЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУШ И О ДРУГИХ ЧАСТЯХ

У поэта Высоцкого в песне Говорящего Попугая

Я Индию видел, Иран и Ирак,
Я индивид, а не попка-дурак

замечательная народная этимология: индивид оттого, что Индию видел. Подразумевается формирование личности и рост души в прямой связи со впечатлениями от зарубежных поездок.



Л.Г., сына двух поэтов, однажды застали: сидел на ковре на четвереньках ипил с полу чай с заезжим монголом.



Все говорят из Паскаля: "Не философов Бог, а патриархов".

Не всякий Бог нам подходит. Который Бог — не личность, он уже и не Бог. Может быть, нужно поставить в начале всего — Личность? Но какие виды мы припишем личности, чтоб сделать ее Божеством? Придется нам опереться только на Библию, а это вывод, и правда, совсем не философский.

Можно ли, однако, лишить Божество общего значения в сфере чистой мысли? Верно ли, что Божественное философов — на самом деле пустой вымысел? Если вымысел, то есть "плод мысли", то чего стоит догматическое богословие?

Но чем мысль хуже пищеварения? Или зрения и слуха?

Или осознания? Что за шовинистический экзистенциализм? И что за апартеид интеллекта?



Мнение Платона о лучшем качестве бытия, когда оно вечное, основано на наблюдениях за небесным сводом. неподвижные звезды выглядят бессмертными. Они сияют.



Возможно, истинное бытие приходится на грань исчезновения.

То, что существует, имея силу, вес и толщину, скорее всего живет в неверном правиле.

А Платон, понимая, что вещество не вечно, придал вечность невещественному и тем невидимому сообщил много силы.



Однако древняя глубокая интуиция говорит о достоинстве постоянства. На ней основано пристрастие к золоту.

Золото вечное, оно блестит, оно имеет толстое бытие. Его можно зарыть в землю, а потом взять "с той стороны". Золотая броня защищает душу от духа тьмы. На небесах все из золота.

Может быть, мы переносим на Бога качества сакрального царя, вождя, обвешанного блестящими амулетами?

Все, что из известного списка прекрасно по существу: улыбка ребенка, плеск малой волны, легкое дуновение — все это исчезает и возникает. Оно не в бытии, а на границе небытия. Согласимся ли мы вместо Вечного Бога на шаткий призрак? Заставим ли мы Его вникать в наши невесомые забавы?



Платонический взгляд: истина есть нечто неподвижное. Существует лишь то, что существует вечно. Вывод: Бог существует вечно.

Тут можно сомневаться. Выражения "Бог существует" и "Бог не существует" в равной мере бессмысленны. Когда их произносят, то не имеют в виду логическую формулу. Например: "Жив Господь!" — воскликнул К. и шумно перекрестился.

Но верен ли сам платонический взгляд?



Да не заподозрят меня в принадлежности к какому-нибудь тайному клану. Сама мысль об этом внушает ужас: принадлежать, играть роль, войти в историю. Бессмертие человеческой памяти, слава в отдаленном потомстве, честь стояния при больших делах. Ах.



Бога следовало бы поставить выше Бытия и единства.

Следовательно, логически рассуждая, Бог может не существовать и не быть единым. Поэтому утверждения "Бог един", "Бог существует" должны рассматриваться не как тезисы, а как выкрики.



Библейская космогония подразумевала, что течение времени началось с Четвертого Дня, когда были созданы светила. Все, что появилось до того, в том числе и Слово, времени не причастно. Поэтому нельзя сказать, что было время, когда Сын не существовал. Это значило бы подчинить Логос времени, а не наоборот.

Мы привыкли думать, что для реализации времени достаточно перемены отношений. Это не так, если говорить о предвечных сущностях. Например, "Аминь" явился прежде мира, и ангелы могли отвечать "Аминь!" всякий раз, как Бог произносил "Да будет". В Откровении Иоанна этот Аминь отождествляется со Христом, то есть с Логосом. Христос есть Истина (Аминь) прежде всего в таком вот смысле.



Удивительна история с омо- и омиусианством. Первое считают истиной, второе ересью. Но если довольно сложная система взглядов радикально меняет смысл из-за одной буквы, это может означать только, что она неустойчиво сформулирована. Хорошо построенная мысль должна восстанавливаться при искажениях. С другой стороны, даже сильно заблуждаясь разумом, тела людей ведь не перестают существовать. Почему должны гибнуть души?



А святой Феофил говорил так:

— Человек ни смертен, ни бессмертен, но свободен. К чему склонится, тем и удовольствуется.

Вот мнение, которое приходится считать тонким.

Примерно то же говорил Еврипид, но в тоне не столь оптимистическом:

А жить

Не то же ли, что мертвым быть?

А философ Демонакт на вопрос, бессмертна ли душа, отвечал: Бессмертна. Но не более, чем все остальное.



Некто Ш., родом из Москвы, крестился в православную веру и отправился в Израиль, имея широкие планы. Здесь из них ничего, кроме суеты, не получилось, и Ш. уехал в Париж.

Не Христос на осле в Иерусалим въезжает,
А осел на Христе из Иерусалима съезжает —

говорил по этому поводу мой друг Авель.



Ш. уверял меня, что в смерти Сократа виноват Аристофан. Подоплека та, что "поэт убил философа". Ссылался на слова Сократа из Апологии: "Меня убивает комедия".

Ш. не понимает, что Сократ говорил нарочитую чепуху. Вот Платон — тот и правда хотел изгнать поэтов из Государства. Но кто будет столь скучен и глуп, чтобы вменить мечту в вину мечтателю?



Когда в аристофановых "Облаках" разочаровавшийся в философии Стрепсиад поджигает сократову мыслительню, пафос его действенной апологетики чрезвычайно смешон. Он кричит: "Они богов бесчестили!" — вспомнил о богах.

Известно, что пока шло представление, Сократ все время стоял. Вокруг были еще мраморные силены из свиты Диониса, лицами похожие на Сократа: лысые, бородатые, курносые. Итак, Сократ на сцене, Сократ в рядах, и эти силены. Несколько силенов до сих пор там валяются за орхестрой.



В дословном переводе Премудрость это вторая сефира, Хохма, а Логос — третья, Бина. Как могли иудеохристиане тех лет вникать в тринитарные споры?



Литератор П. сообщил нам, чем занимаются три Божественные Ипостаси в свободное время. Они играют. Во что же они играют? В какую игру? Мой друг Авель думает, что в "пьяницу". Я был уверен, что в "носы".



Литератор П. пишет: "Религия живая, пока в ней есть ереси".

Мне показалось, что у него короткие ноги. Спросил. Действительно, короткие.



Профессор П. пишет, что он спросил одного индуса о змеях. — В нашей деревне... — ответил индус.

Дальнейшая речь этой деревенщины передана примерно так. Жители деревни делятся на два класса: "знающие змей", то есть понимающие космическую символику безногой рептилии, и "не знающие". Представителей первого класса змеи не жалят.

А про профессора И. мне насплетничали, что он верит в "пришельцев".

Какие у нас суеверные светочи!



Свет определяется отличием от местного тепла. Любое тело излучает сообразно своей температуре. Но если кванты излучения чужды температуре тела, то это уже не тепло, а свет. Источник света (как Солнце) сам для себя источник всего лишь тепла, а для Земли его тепло есть свет, так как Земля в двадцать раз холоднее.

В среднем один квант тепла света Солнца распадается на двадцать квантов земного тепла. Это мера формирующей способности солнечного света. Когда квант света входит в область земной жизни, он может просто распаться, и тогда его формирующая потенция исчезнет бесследно. Но он также

может, распадаясь, передать эту потенцию в систему пигментов растения или глаза животного, и тогда рассеется лишь часть ее, а остальное создаст форму, информацию, усложнит структуру. Речь здесь о структуре, о форме, а не об энергии. Энергия может оставаться постоянной: сколько пришло как свет, столько ушло как тепло. Поэтому свет — обычный видимый свет — первая форма.

Существенно также, что форма может исчезать бесследно. Это противоречит оптимистической интуиции, будто бы "ничто в мире не пропадает".



В отличие от того, что думали об этом прежде, вечной оказывается материя, а форма гибнет. И мы не можем вывести бессмертия души из естественных наук: у нас нет для этого ни фактов, ни вынуждающей логики. Ясно только, что бессмертная душа не может быть формой, а если она форма, то не бессмертна.

Придется считать душу за нечто совсем особое.



Можно верить, будто бы существует особый потусторонний мир, где продолжают свое бытие тени рассеявшегося света, образы распавшихся частиц, лишенных энергии и массы. И там они ожидают всеобщего восстановления. Так же и человеческие души.



Стараются различить "видимый свет" и "свет Божества". Однако и видимый, физический свет имеет творящую природу.

Хотят заставить Бога творить все сразу.

Но с точки зрения вечности нет никакой разницы, сотворен ли мир мгновенно или имеет историю. Выражение "да будет свет" можно рассматривать просто как удачную интуицию, а дальнейшую космогонию изображать по науке. Ведь свет есть первая форма.



Физик Л. сказал:

— Нравятся мне эти ваши полунауки: экономика, экология, социология.

На чем же основано мнение, что физика является "полной наукой"?

Мой друг Авель утверждает, что на ее происхождении от астрологии. Верили, что боги обитают в небесах, на звездах, и что звезды это боги. Будущее зависит поэтому от богов — светил, управляющих нижним миром. Это верно во всяком случае относительно Солнца и весьма вероятно — насчет Луны. В прочих влияниях можно теперь сомневаться. Но раньше верили, конечно, что зная точные правила перемещения светил, можно предвидеть будущее. Подобный взгляд руководил Кеплером и Ньютоном. Механически небесные системы довольно просты, и математика также оказалась проста. Только в последние годы выяснили, что поведение сколько-нибудь занятных систем в принципе непредсказуемо. Так что репутация физики стоит на суевериях и обманутых надеждах. Законы физики формулируются строго, но будущего из них мы все равно не узнаем.

На это можно возразить о внутренней красоте правил высокой науки. Но и на это можно что-нибудь возразить: что-то ведь нравилось физику Л. и в наших полунауках.



Академик О. сказал:

— Если бы я верил в Бога, я верил бы в Солнце. Оно светит и греет.



Стукач Ю. говорил:

— Я не хочу в рай. Там скучно, все одинаковые.

В доникейское время иные богословы думали, что воплощение твари произошло из-за того, что умы наскучили чистым созерцанием истины.

В сущности, и тот, и эти сомневаются в ценности платонического неподвижного совершенства. Вечность скучна. Звезды жалки. Все, что имеет толстое бытие, не представляет ничего интересного. Третьего Храма не будет.



Говорят: "Страна должна знать своих стукачей". Так ли

это? Может быть мы хотим чего-то слишком хорошего? Чего мы вовсе недостойны?

Может быть лучше их не знать?



Нашу свободу обеспечивает отсутствие точных доводов в пользу бытия Божия и бессмертия души.

Говорят о нравственном атеисте: он не боится посмертных казней и не имеет надежд на награду. Его нравственность выше и чище.

Но и деист, и теист в наше время ничем к вере не принужден.

Можно, конечно, утверждать, что нравственность атеиста нравственнее безнравственности деиста или теиста.



Нет омерзительнее зрелища толпы, подвывающей харизматическому вождю. Здесь же уместно распространиться о природе лжи и о жабах.

О лжи. Лгать человеку не свойственно. Есть, конечно, счастливицы, наделенные таким живым и поверхностным воображением, что ложь проникает в их тело почти мгновенно, и оно не сопротивляется, выдавая себя лишь блеском бегущих глаз. Большинство же вынуждено насиловать голосовые связки и память. Поэтому голос лжеца двоится и дребезжит. А вечно теснимая память понемногу рассасывается и перестает быть.

Когда же они говорят перед народом, приходится особенно напрягать мускулы под нижней челюстью, выставлять ее вперед, а углы рта при этом уходят книзу. Возникает образ жабы.

Так выглядели герои первой половины двадцатого века — о ком говорят: "Ах, какой это был оратор!"



Некто Терапиано описал в воспоминаниях.

Заспорили однажды Адамович и Ходасевич. Можно ли употреблять слово "матерний" наподобие "дочерний", как прилагательное. А речь шла, конечно, о поэте, который написал что-то про "матернее чувство" или "душа" — что-то такое. Спорили они и ни к чему не приходили. Ходасевич говорит можно,

Адамович — нельзя. Позвали Георгия Иванова. Тот решил, что ведь было у Баратынского:

За матернею сестрою
Долго замужем была и т.п.

Сюда нужно добавить: "отцерна дочь" и "матерновый падчер".

Да и сам Пушкин писал:

На царевне обвенчался.



И Набоков пишет о каком-то своем дяде: "путешествовал, знал страсти". Тоже, значит, "индивид".



Выражение Иисуса "пять мужей было, и кто сейчас — не муж" — пословица. Дама из Самарии рассуждала сама с собою:

— Разве это муж?! — и так всякий раз, как ей случалось обзавестись спутником жизни. Она и воскликнула поэтому:

— Он (т. е. Иисус) мне всю мою жизнь рассказал!

Она так всю жизнь и говорила: Разве это муж?!

Нужно помнить, что разговор Христа с самаритянкой происходил в большую жару у колодца, и оба они, конечно, шутили.



Мертвые хоронят своих мертвых.

— Я думаю, — говорил мой друг Абель, — что отец молодого человека был жив. Он не хотел огорчать отца и поэтому сказал Иисусу: "Дай похороню его, а потом пойду за Тобю".



Владыка Н. скончался в библиотеке Ватикана.

— Поступок даже слишком экуменический, — отозвался один из отцов американской автокефалии.

О Н. говорили разное. Мой друг А.П. на личной аудиенции нарочно обращался к нему "монсеньор".

— Дерзок, дерзок, — посмеивался Н.



Отец Александр Мень говорил: "Теологи злые".

И верно: они любят свою мысль. Вот Бердяев — он ведь тоже жалел свою прошлую социалистическую мысль даже когда увлекся христианством. Пишет где-то: "Вот так зарождаются ереси!" — шепнул католический богослов другому на утренней вечеринке у Бердяева, послушав речи хозяина дома. Действительно, теологи злые.



Отец Гавриил и я сильно напились в Вене.

Наутро я застал его сидящим на краешке перед огромными недопитыми пузырями. Он послулся и произнес проповедь.

— За что мы так любим Богоматерь? За то, что именно Она побудила Спасителя совершить Его первое чудо.

Еще вечером я спросил, как фамилия.

— Бультман.

Мы были уже пьяны.

— Тот самый Бультман?

— Тот самый.

— Неужели тот самый?

Я все не мог поверить, что радикал-теолог-протестант преобразовался вдруг в православного попа.

— Ну конечно, тот самый. Кто же еще?

Оказалось, племянник. Вот оно — первое чудо.

А отец Даниил, когда справлял двадцатилетие монашеской жизни, решил попотчевать соотечественников польской водкой. Собрались. Стали распечатывать бутылку "из Польши". Попробовали, а там вода. Чудо произошло на таможне.



По слухам, архимандрит А. целомудрием не отличался. Неофит М. толкался однажды у них на приеме. Там была еще безумная мать с мальчиком-дегенератом. М. хотел куда-то пройти. Мать его двинула сзади, дитя вцепилось слева. М., человек с прошлым, не выдержал:

— Да что тут за бардак!

Отец-архимандрит принял на свой счет и обиделся ужасно.



Католические миссионеры вошли в проблему: как перевести для китайцев "Отче наш", где про хлеб насущный — они-то ведь хлеба не едят. Вышли из положения весьма прямолинейным путем: "Рис наш насущный даждь нам днесь".

С японцами было еще проще. Перевели "пын" (наш насущный).

"Пын" означает по-японски "простая пища". Слово происходит от латинского "панис", хлеб. Его занесли в Японию испанские монахи в шестнадцатом веке.



В Париже все люди, близкие к церкви, глубоко уважали престарелую мать Бландину. Она скончалась. На панихиду явилось много народу, среди прочих по случаю оказался С., наездом из Штатов.

Газета писала: "Как, должно быть, радовалась душа покойной, видя среди провожающих ее в последний путь великого писателя земли Русской!"



О "пришельцах" много говорят в России и ничего не слышно в Израиле. Наверное, неподходящая почва. Космонавт Сытин считает, что пришельцы сами не уверены в собственном существовании. Тут что-то есть: в шатком колеблющемся воздухе нашей последней Империи им легче угнездиться.



Пришельцы взяли к себе в летающее судно американского гражданина Адамского, увезли в космос и показали обратную сторону Луны. Нечто очень похожее случилось с автором "Книги Еноха". Архангел Уриил возил его по всем планетам, объясняя правила движений ночного светила. Поэтому фамилия Адамский наводит на подозрения. Не имеем ли мы дело с репликой на "Книгу Адама"?

Вскоре затем пришельцы похитили супружескую пару Джинс. Они задержали их автомобиль в пустынном месте, определили рост, взвесили, еще что-то измерили, сфотографировали и отпустили. Супруги Джинс лишились памяти, и чтобы вернуть ее, потребовался сеанс гипноза.



Над Петрозаводском, кажется в 1974-ом году, долго висела огромная светящаяся тарелка. В стеклах многих домов образовались небольшие оплавленные пробойны. Их вынули и куда-то увезли.

Верят, что пришельцы настроены антимилитаристски. Они часто суетятся над войсками при маневрах, могут заставить заглухнуть моторы танков. Самолеты при приближении к тарелкам рассыпаются в сверкающую пыль.

Интересно, кто взорвал зимой 1984-го года военные склады в Североморске?



Нужно ли душе вечное бытие?

Не может ли она обойтись только трепетом, собственным своим "дзинь-дзен"?

Тогда мы возымели бы умственную радость думать, что душа — это легкая невесомая форма, в которую облекла себя вечная, тяжкая, косная материя.



Может быть, Бердяев это предчувствовал и поэтому ставил свободу выше Бога. Но если логически Бог может не существовать, вопрос о свободе устраняется. Логика в отношении начал вещей не лучше простых заклинаний и неотличима от суеверий.



Много говорили о драконе в озере Лох-Несс.

Один человек купил надувных детских крокодилов, черепах, змей, составил из них поезд и стал нырять с аквалангом в каком-то озере в Грузии. Чудовище вскоре было замечено, снято на пленку. Послали одну экспедицию, потом вторую. Стали писать статьи: почему именно в этом озере до сих пор водятся мозозавры. Шутник любил ходить на заседания ученых комиссий.



Примерно третья часть евреев — левиты. Их можно отличить по более тонким лицам, рукам. Они часто светлые.

Левиты — особый народ. Псалом 132 — один из самых

древних. В нем описывается помазание Великого Первосвященника, главы племени. Церемония происходила на горе. "Братья" в псалме это и есть левиты.



Псалом 132
(по синодальному счету)

Как приятно братьям
И как хорошо быть вместе —
Словно лучшее масло
Когда с головы стекает,
Стекает на бороду — браду Ааронову
Да по каймам его одеяний,
Словно роса Хермона
Стекает на Сионские выси,
Ибо там изрек Яхве
Благославляя жизнь веки.



Современный богослов иронизирует:
— Бога (Отца) представляют себе в виде бородатого старика.

А как Его еще можно себе представить? В виде бритого горожанина?



Приходится слышать. Иногда падение единственной капли наполняет душу волшебным звоном. Между тем — вечное капанье — ужасная пытка. А как же вечный Бог? И как быть?

Вся написанная музыка скучна, еще скучнее, чем хаос. Но бывает, в момент ее рожденья мы слышим как бы другую музыку. Ради другой музыки играют эту.

Так можно оправдать богословие.



Во время недавней революции толпа стала свергать статую Дзержинского. Она весила семь тонн. Пришлось звать два крана, когда свергли.

Иные думают, что скульптуру следовало сохранить.

Ведь в Италии, говорят, стоит для памяти Муссолини. На это возражают, что в Италии изображения служат памятником, а у нас идиолом. Поэтому нужно свергнуть.



Фамилию "Кчсвами" следует произносить с южноафриканским акцентом. Первые согласные звучат в ней как нависающий щелчок.



Речь проповедника о Законе:

— Мы повсюду видим Закон. У природы — законы природы. У воров — воровской закон.

Если не ошибаюсь, это был субботник или пятидесятник.



Табга (Табха) — от "Гептапегон".

Немия — от "ихневмон".

Далманут — от "Магдала". Гимн прочтен как Нун и Хе как Тав.

Генисарет — метатеза от "Кинерет".

В современном иврите есть два слова "варвар". Одно так и означает "варвар". Второе — "болтун". Соответствующий глагол "лебарбер", дословно — "варварствовать", значит "говорить попусту".



Петр Вайль, Александр Генис

ВЕСТИ ИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Беседа с писателем Владимиром Сорокиным

Почему-то довольно распространено заблуждение, что свобода может быть либо тотальной, либо никакой. На самом деле, ни одно общество не живет без запретов – в том числе и постсоветское. Во всяком случае, Владимиру Сорокину падение политической цензуры отнюдь не облегчило жизнь. Его по-прежнему печатают с адским трудом и тяжелыми последствиями для тех органов, которые на такое дело все же решаются. Только не стоит так уж осуждать новых ретроградов. Литература, слава Богу, постоянно обгоняет жизнь. И если пришло (и уже ушло) время для Солженицына, если читатель созрел для Лимонова, то массовая аудитория Сорокина еще вряд ли готова принять его сочинения.

Тут никто не виноват – писатель и читатель редко живут друг с другом в счастливой гармонии. Да и кончается такая взаимная приязнь быстрым охлаждением и забвением. Сорокин же представляется нам участником не настоящего, но будущего литературного процесса. В свои 36 лет он успел перепробовать множество жанров. Он ведет наступление широким фронтом, занимаясь и новеллистикой, и пьесами, и эпосом, и чем-то таким, что и названия еще не имеет.

Мы открыли для себя его творчество в 84-м году, когда парижское издательство "Синтаксис" выпустило книгу "Очердь" (сейчас она публикуется в журнале "Искусство кино").

С тех пор мы старались прочесть все, что написал Сорокин — как печатное, так и самиздатское. А во время недавней поездки в Москву нам удалось с ним, наконец, встретиться. Отчет об этом знакомстве мы сегодня предлагаем читателю.

Вайль и Генис. *Что все это значит? зачем вы пишете?*

Сорокин. Не знаю. Хотя есть у меня довольно простая концепция. В детстве я пережил сильную травму — психологическую и физическую. К 18-ти годам я так сильно заикался, что практически не мог говорить. Процесс продуцирования текстов дал мне уверенность в себе. Писание выполняло для меня сразу несколько функций. Во-первых, защитную: текст как щит. Во-вторых, я попал в круг московского андерграунда. В-третьих, тексты дали мне осмысленность существования.

В-Г. *И давно вы этим занимаетесь?*

С. Лет с тринадцати. Тогда у нас в школе ходили порнографические сочинения — "Возмездие", "В бане". Вот и я сочинил что-то подобное — рассказик "Яблоки", выдав его за перевод с английского. Но оказалось, что это слишком просто. Так что до 18-ти лет я занимался другим — рисованием.

В-Г. *Вы начинали с жизнеподобной литературы?*

С. Первые рассказы были написаны под влиянием Кафки и Набокова, но очень скоро пошел соц-арт.

В-Г. *Из чего состоит корпус ваших сочинений?*

С. У меня семь книг. Среди них — сборник рассказов "Первый субботник", "Очередь", сборник пьес, романы "Роман" и "Сердца четырех". Почти ничего из этого не вышло в России. Только что, например, я пытался напечатать сборник рассказов. Его отдали в харьковскую типографию "Комуняка". Оттуда книгу вернули, сказав, что тексты оскорбляют рабочих и администрацию. И пьес своих я на сцене не видел, хотя какие-то энтузиасты из Курска еще в 89-м году пытались что-то поставить, вследствие чего театр закрыли.

В-Г. *Как вам удалось добиться статуса "непроходимого" автора?*

С. Мне трудно об этом говорить, потому что я лишен возмож-

ности видеть себя со стороны. Могу лишь догадываться. У нас во дворе была выгребная яма. Каждый понедельник туда приезжала машина, которая откачивала нечистоты. Зрелище это меня, тогда пятилетнего, завораживало — оно одновременно и притягивало, и отталкивало. Есть такие зоны и в культуре. В этом есть какая-то нечеловеческая красота, граничащая с ужасом.

В-Г. *Однако ваша неприемлемая для многих необычность связана не только с темами, но и со стилем. Вы намеренно разрушаете ткань языка?*

С. Безусловно. Для меня принципиально важна граница слов, момент перехода из одной стилистики в другую, ломка стилистических архетипов.

В-Г. *Патология языка?*

С. Именно так, патология языка.

В-Г. *Читая ваши тексты, всегда сталкиваешься со стилизацией, с чужим голосами. А где ваш — авторский — голос?*

С. В самих конструкциях, наверное. И еще — в специфических словах, в глоссалии, в странной, ненормативной, несуществующей лексике, вроде такого — "гнилое бридо".

В-Г. *А что это значит?*

С. Здесь идет психопатологическая обработка текстов. Я всегда интересовался, хотя и чисто любительски, психиатрией. У больных можно найти много подобных высказываний. В моих текстах — стилизация патологической речи, это — попытка введения в литературу маргинального художественного языка.

В-Г. *Что же вы хотите сказать на этом языке?*

С. Вопрос "что я хочу сказать" остается без ответа. Я лишен чувства читателя. У меня никогда не было обратной связи. Поэтому я могу лишь сказать, что получаю колоссальное удовольствие, играя с различными стилями. Для меня это чисто пластическая работа — слова как глина. Я физически чувствую, как леплю текст. Отношение к литературе у меня носит нелитературный характер. Тут ближе изобразительные искусства. Первый творческий импульс у меня шел от художников, которые

помогли мне сформировать свои эстетические принципы.

В-Г. В чем они состоят?

С. Прежде всего, я изначально отделяю эстетику от этики и этим разрешаю проблему нравственности. Когда мне говорят "как можно так издеваться над людьми?", я отвечаю: "Это не люди, это просто буквы на бумаге".

Да и к жизни мое отношение чисто эстетическое. Для меня, например, советский мир не ужасен. Напротив — он интересен и красив той нечеловеческой красотой, о которой мы говорили. Все это и красиво, и страшно.

В-Г. Несмотря на то, что вы пытаетесь свести своих персонажей к буквам, они — может быть, сами по себе — превращаются в образы, в образы людей. Как вы представляете себе своих героев?

С. Никак. У меня текст первичен. Он, а не я, порождает героев. Героев у меня нет. Я изначально отделен от них. Как голограмма, которая существует только пока на нее смотришь. Образы — это уже задача для читателя.

В-Г. А какую задачу ставит перед собой автор?

С. У меня есть некий персональный критерий качества — чистота внутреннего строя. Для меня, например, "Кубанские казаки" куда лучше, чем фильм "Зеркало". У Тарковского я вижу дыры. Это не цельная вещь. Меня же привлекают монолитные конструкции.

Кстати, меня кино всегда завораживало. В детстве советские фильмы доводили до слез. Да и мои тексты — все кинематографичны, это, по сути, сценарии. В них переход из одного пространства в другое решается чисто кинематографическими приемами.

В-Г. А кто из писателей удовлетворяет вашему критерию "чистоты внутреннего строя"?

С. Многие. Гоголь, Толстой. Очень цельная вся сталинская литература — "Счастье" Павленко, послевоенный научно-фантастический роман. Их я могу без конца перечитывать.

В-Г. Где ваше место в русской литературе?

С. Поближе к обериутам, к абсурду, к Введенскому.

В-Г. К Платонову?

С. Пожалуй, нет. Он для меня слишком витален, слишком неотделен от текста.

В-Г. А в современной словесности?

С. Есть немало тех, кто делает что-то похожее. Но я знаю точно, что никто вот такими манипуляциями с крупной, романной формой еще не занимался. Даже у Джойса нет полной отстраненности от текста. У него все же есть авторский голос.

В-Г. Вы ведь начинали как художник. Что вам близко в этой области?

С. В России 70-е и первая половина 80-х годов прошли под влиянием не писателей, а художников. Сейчас все это развалилось. Но я по-прежнему люблю многих, хотя на выставку сталинской живописи я пошел бы с большим удовольствием, чем на Кабакова.

В-Г. Вкусы у вас соц-артовские. Но сейчас это направление обречено на вымирание, не так ли?

С. Соц-арт кончается тогда, когда перестаешь работать с советской стилистикой. Однако для меня первичен не соц-арт, а поп-арт. Мне Уорхол дал больше, чем Джойс — он учил "поп-артировать" культуру. Для меня нет разницы между Джойсом и Павленко — это одна и та же глина. Соц-арт это лишь часть поп-арта, принципами которого я пользуюсь постоянно.

В-Г. Вы сказали, что цените все монолитное, однако психопатологическое сознание принципиально разорванно. Как вы решаете это противоречие?

С. Есть два полюса — хаос и порядок. Меня оба они привлекают, как магнит. Меня качает между жесткими и хаотическими структурами. В этом и спасение: сегодня одно, завтра — другое.

Видите ли, я всю жизнь чувствую жуткую несвободу. Нас ведь насильно вытолкнули в мир из утробы. За этим пошла чередой насилия, которая не оставляет выбора — человек обречен жить. Так что смерть — величайшая надежда: есть конец, есть выход. Писание — тоже выход. Пригов как-то сказал: "Пока я пишу, все в порядке, но когда поднимаю голову — становится страшно". На бумаге можно делать все, чтобы забыть ужас бы-

тия. Литература и есть транквилизатор, который позволяет забытья.

В-Г. Вы верующий человек?

С. Были у меня такие периоды.

Но вообще меня поддерживает надежда, что всему этому есть конец, хотя бы физический. Жизнь — это некое сновиденческое пространство. Этот мир слишком тяжел. Ненадежность, иллюзорность, ни на что нельзя опереться. Разве что на смерть.

В-Г. А рождение?

С. Смерть более убедительна. Но ведь это все те же два полюса.

В-Г. Что сейчас происходит в России?

С. Невероятно интересный спектакль, участником которого я ни на минуту не могу себя почувствовать. Во время путча я сделал над собой усилие и поехал к Белому дому. Было впечатление, что снимается очень дорогой голливудский фильм.

В-Г. Вы бывали на Западе. Какое впечатление он на вас произвел?

С. На Западе приятно жить, но становится скучно — это как жить на даче. Здесь же мне удивительно хорошо работается — пространства гигантские, в которых царит анархизм в сочетании с сакральностью.

В России есть одно большое коммунальное тело — коммунальное сознание чисто телесно, этаким культурный атавизм. Барачный вариант соборности. Люди здесь, в отличие от западных, принципиально еще не отделены друг от друга. Только сейчас начинают разлепляться — отваливаются куски.

Но вообще нет принципиальных различий между Востоком и Западом. Человек изначально болен — он обречен, он умрет. Есть две онкологические больницы: на Западе приходит врач, милая девушка, приносит фрукты, цветы, включает телевизор — все в порядке; у нас просто — железная койка, палата номер шесть.

Разные клиники, но и там и тут — онкологические.

Александр Генис

МЕРЗКАЯ ПЛОТЬ

Роман "Сердца четырех", который я хочу представить читателю, не вышел в свет и вряд ли выйдет в ближайшем будущем.

Дело тут не в мате, не в сексе, не в насилии. Страшнее, что автор разрушает табу, которое нормальное человеческое сознание накладывает на ненормальное — табу на описание патологических мерзостей. Сорокин нарушает границы приличий в их самом широком смысле: вскрывает тот гнойник, о котором нельзя даже упоминать, чтобы не утратить к себе, человеку, уважение.

Сорокин человека не уважает. Но это, самое страшное из преступлений, доступных писателю, оправдывается тем, что Сорокин не уважает *такого* человека. Только встав на авторскую точку зрения, мы сможем дочитать роман до конца, сможем справиться с гневом и отвращением, чтобы попытаться понять, что же все-таки сказал этот самый странный и самый многообещающий писатель современной России.

Впрочем, апологетическая преамбула не поможет ввести читателя в курс дела. Роман Сорокина густо зашифрован, а расшифровки нет. Многого мы в нем так и не поймем, что и предусмотрено автором. Его герои знают больше, чем знаем мы, читатели.

В "Сердцах четырех" рассказывается история с острым, лихо закрученным сюжетом. Книга просто перенасыщена действием. Однако от нас тщательно утаивают смысл происхо-

Владимир Сорокин. Сердца четырех. М. 1991. Рукопись.

дящего. Все, что мы знаем, сводится к тому, что в сегодняшней, уже ельцинской, России действует некий Союз Четырех — энергичный лидер и его соратники: спортивная девушка, 13-летний мальчик и пожилой ветеран. Они связаны общей таинственной целью, ради которой подвергают других невиданным по жестокости испытаниям и претерпевают их сами: пытки, убийства, насилия.

Все это описано с леденящими душу подробностями. Зато полный туман там, где говорится, чем они занимаются и ради чего. Ясно только, что герои достают что-то необходимое для их цели — детали загадочных машин и части трупов. Куда-то со всем этим диковинным добром едут. Что-то с ним делают. Здесь Сорокин демонстративно непонятен. Сюжет у него строится по всем правилам, но изъяты мотивы, его объясняющие.

Так вскрывается первый пародийный план. Мы привыкли к тому, что действие оправдано чем-то осмысленным. У Сорокина эта осмысленность принадлежит не читателям, а героям. Какая нам разница, как бы говорит автор, знаем мы, что тут происходит или нет — главное, чтобы это знали персонажи.

Стоит допустить, что Союз Четырех готовит диверсию, собирает шпионские сведения или там готовит мировую катастрофу — и все станет на свои места. Цель будет оправдывать средства, как в любом приключенческом боевике. Но Сорокин, намеренно оставляя фабулу без мотивов, оголяет каркас авантюрного романа. Сюжетные ходы двигают действие неясным для нас образом в загадочном для нас направлении.

Следующий, после сюжетного, пародийный уровень — стиль. Как и в других своих произведениях, Сорокин заполняет текст разностилевыми мазками. В этой технике коллажа эпизоды, выписанные в разных литературных манерах, наползают друг на друга, перемешиваются, совмещаются, создавая единое словесное поле. Аналогом его романа могла бы быть картина, написанная сразу передвижником, импрессионистом, футуристом, сюрреалистом и кем угодно еще.

Прием тот же, что и с сюжетом. Сорокин выписывает гладкие куски текста в легко узнаваемой цитатной форме — то рассказ ветерана о блокаде, то историю мытарств интеллигентной старушки по сталинским лагерям, то злободневные политические дискуссии, то разоблачительные исповеди. Здесь

представлен весь спектр перестроечной литературы, которая становится материалом для концептуальной игры — сами по себе эти тексты не несут осмысленного содержания.

Отвлекаясь в сторону, хочу привести один пример. Вагрич Бахчанян выпустил книгу под названием "Стихи разных лет". В ней собраны самые известные стихотворения русской поэзии — от крыловской басни до Маяковского и Хлебникова. Все это издано под фамилией Бахчаняна. Смысл акции в том, чтобы читатель составил в своем воображении автора, который — один — смог бы написать всю русскую литературу.

Подобная идея стоит и за экспериментом Сорокина. Его книга написана всеми стилями за исключением одного — авторского. Писательского голоса просто нет. Он даже не растворен в коллаже, а выведен за пределы повествования, а значит — и за пределы литературы. Роман Сорокина является пародией на художественный язык в целом.

Но и это не конец. Сорокин, в отличие от своих ранних произведений, в новом романе не удовлетворяется эффектом разрушения словесности. Его уже не устраивает тотальное пародирование культуры, достаточно обычное в рамках постмодернизма. Итоговый уровень пародии у Сорокина другой — метафизический. Только здесь, в предельно верхней точке, увязываются воедино все сюжетные и стилевые ходы.

В том-то и соль, что роман этот отнюдь не абсурден. Он наполнен глубоким религиозным содержанием, раскрыть которое Сорокину и позволяет та самая мерзость человека, которую не устает описывать автор.

Сорокин ненавидит человеческую плоть. Изобильные в его романе патологические сцены жестокости лишены садистского сладострастия. Автор мучает героев, чтобы всячески унижить их плоть. Именно плоть — мясо с кровью, спермой, калом, мочой, потом. Показывая, что может сделать один человек с другим, автор замирает не в ужасе, а в отвращении, которое у него вызывает наша плотская натура. Человек для Сорокина — это не царь природы, а нелепая натуралистически выполненная кукла, набитая вонючими потрохами, и обтянутая кожей маринеткой. Поэтому все ужасы в романе — на самом деле не страшны, а смешны.

Главный объект пародии Сорокина — сам человек в его земной оболочке. Вот ее-то — грязную, смердящую, отврати-

тельную — можно безжалостно терзать и кромсать. Все равно она ненастоящая.

Дикая нелепость, говорит Сорокин, отождествлять человека с его телом. Любое издевательство над телом — это всего лишь попытка причинить боль труп. Впрочем, и на трупе можно оставить синяки, только это еще не основание для сочувствия мертвому.

Для Сорокина человек — это "душонка, обремененная трупом". Вот автор и освобождает душу от тела, самими, надо признать, изобретательными и омерзительными способами. Но человеку, считает Сорокин, от этого ни горячо, ни холодно. Ведь нельзя же в самом деле признать наш земной мир единственно возможным. Как, в сущности, смешно думать, что жизнь, заключенная в жалкую оболочку тела, чего-то стоит. Такое заблуждение недостойно личности, если, конечно, не перепутать человека с его телом.

Там, в другой, настоящей, вечной, подлинной жизни, все, что мы ценим и чего мы боимся в этой, будет столь несущественно, до смешного малозначительно, что не пробудит в душе и воспоминания о бренном теле. В *том* мире голос *этого* — что писк младенца старику.

Своим романом Сорокин ядовито спрашивает читателя: неужели вы и правда поверили, что этот убогий фильм ужасов, называемый жизнью, есть подлинное бытие? Что вы всполошились при виде бойни, которую я тут учинил? Где же ваша вера в вечную жизнь и в бессмертную душу?

Мы привыкли считать, что религиозная эмоция обязана быть благодистой. У Сорокина она яростна. Он умерщвляет плоть с бешеным темпераментом аскета.

Только если мы, как консервную банку, вскроем роман Сорокина метафизическим ключом, в нем обнаружится смысловой, идейный уровень. Герои книги, четыре всадника апокалипсиса, мчатся к смерти, сея смерть по дороге. Их цель — избавиться от фальшивой плотской жизни, освободиться от карикатурной оболочки: вырваться из тела с тем, чтобы сохранить душу-сердце для каких-то иных, подлинных существующих. Вот последняя фраза романа: "Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги. Завращались резцы, опустились пневмобатарей, потек жидкий фреон, головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спресованные в кубики и за-

мороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральных костей. Через три минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой матерью. Сердца четырех остановились: 6, 2, 5, 5.”

Души наших героев наконец освободились от “обременяющих их трупов”. От них остались только сердца, иными словами — те искры Божьи, с которых все началось и которыми все кончилось. Теперь они вернулись в мир проматерии, в некий бытийный океан, чтобы, приняв облик игральных костей, сыграть новый кон по правилам, известным только Богу.

Оказывается, весь роман, заполненный ложными авантюрами, фальшивыми ходами, псевдопоступками и квазистраданиями, есть парафраза земной жизни человека. Жизни, которая — по Сорокину — не имеет никакого смысла для человеческой души ввиду ожидающей ее вечности.

В. Сорокин

ОЧЕРЕДЬ

РОМАН

- У, другие... другие номера?
- Прошли уже.
- Ну, я не купил?
- Тысяча двести тридцать пять.
- Ууу... так это там где-то. Впереди.
- Там?
- Спасибо...
- Я тоже пойду туда.
- А что такое?
- Там жена стоит.
- Ааа...
- Она тысяча триста пятнадцатая.
- Не купила еще?
- Нет еще.
- А сколько осталось?
- Да. До меня, значит, триста.
- Возвремя проснулось?
- Немного, наверное, человек?
- Много проснулся.
- Бутылку Алкаш какой-то смутил.
- Да. Я выпил?
- Да. Тут теперь дворян сидят.
- А ведь, по-моему, не пью... ух ты, как растянулись.
- По-другому?
- Да. Сейчас так?
- Нет... ой...
- Дорожней. Ты бы лицо
- Надо. А то жар...

Зиновий Зиник

ПРИВЕТСТВУЮ ВАШ НЕУСПЕХ

Памяти Павла Улитина

Тюрьма, сума и сумасшествие — самые запятые мотивы русской литературы, и главный вопрос в том, как от них отвязаться, если забыть их окончательно невозможно. Павел Улитин сумел уйти от тюрьмы — в невменяемость, изъясняясь со следователем цитатами из английской поэзии и переняв стиль тюремных допросов как авангардную литературную манеру. Он не превратил тюремные кошмары своего прошлого в превратные картины будущего в назидание тем, кто на обломках самовластья забудет наши имена. Статья о невменяемости спасла его от лагерей, но не от инсулина за тюремной решеткой. Но он не стал называть свою болезнь души — свою отчужденность и неприспособленность к жизни, свое нежелание присоединиться к коллективу и к литературному застолью, — инакомыслием духа и не рассуждал о безумии как официальной печати, заверяющей гениальность. И о тюрьме, и о сумасшедшем доме он говорил с высокой иронией человека, сознающего, что тюремная стена и тюрьма сознания протягиваются не только через все страны, но и через все столетия, и в каждом из них можно найти собеседника. Но самое главное: он выпутался из самого страшного биографического клише, уготованного ему историей — судьбы хрестоматийного героя советской литературы.

Он родился на Дону через год после Октябрьской революции, в станице Мигулинская, в семье землемера. Отца своего, Павла Филипповича, он почти не помнил. Тот погиб, когда ему было три года. Его зарубила белая банда, и матери, Ульяне Ивановне, единственному врачу в станице, пришлось самой пришивать голову мужа к туловищу, чтобы похоронить. Павел

Павлович рассказывал, что первое его детское впечатление было: он проснулся среди ночи и увидел плачущую мать с головой в руках и горшок, полный крови. (Я вспомнил об этом, когда узнал, что во время похорон, по словам его друга, поэта Юрия Айхенвальда, "голова Павла как-то сбилась на сторону, я пытался ее поправить, но тело оказалось другим, не поддавалось. У меня так и осталось в мышцах рук ощущение этой бесповоротной неподатливости".) Казалось, молодой герой "Тихого Дона", переехав в Москву как студент Института литературы, вот-вот станет героем романа "Русский лес", если бы он, в ту эпоху "истинный ленинец", не послал бы анонимной записки лектору по общественным наукам о противоречиях между словом и делом в лозунгах сталинизма. И не угодил бы за это в тюрьму. Но даже в этом шаге все еще жила литературная выправка его тезки по роману о том, как закалялась сталь. Этой стальной выправки не сломила бы и тюрьма — сколько героев его поколения, при всей своей страдальческой судьбе, с готовностью переняли язык сталинской эпохи с его пафосом и морализаторством? (Ему не удалось избежать лишь последствий своего крещения в детстве: его, далекого от какой-либо церковности, хоронили по православному обряду и на лоб положили полоску бумаги с молитвой — не им написанной.) Далеко не божественная, скорее жуткая в своей бестолковости борьба за выживание оставила свои библейские следы и на его внешности: например, в виде хромоты. Но даже инвалидная палочка хромающего после тюрьмы человека обретала, вместе с беретом, некую театральную бутафорскую веселость: это был берет завсегдатая парижского кафе, это была палочка лондонского денди. Он всегда гляделся отчасти как пришелец.

Он, собственно, и был везде пришельцем. Даже родители его в казацкой станице были не из местных, а приезжие русские. В Москве он тоже был "приезжим". Его мытарства по общежитиям в годы студенчества и по чужим квартирам, переезды — с ощущением: навсегда! — в Москву и обратно, в донскую станицу, не превратили, однако, географию разлук в единственное движение души. Ему вообще чуждо было линейное, вроде железнодорожного расписания, мышление: разная география, как и разные эпохи соседствовали у него, особенно в поздний период, в одной фразе, на одной странице. Он как будто боялся застрять на месте, оказаться прикованным к одной тюремной

стене, к одной эпохе, к одному продавленному дивану. События разных лет, соединяющиеся словесно в его пересказе в одну смысловую линию, происходили как бы одновременно. А если учесть, что он помнил конец прошлого разговора многие годы спустя, времени для него тоже не существовало. В той же степени чуждался он и линейного сюжета: сюжет подразумевал одну ведущую идею, цельную идеологию (хотя бы на время романа), а всякая внешняя идеологическая окончательность ему претила. Или же он был просто-напросто неспособен на подобную цельность?

Что же, когда и как сбило его с толку, с хорошо протоптанной стези советского героя? Что заставило его отказаться от ходов советской речи и, в конечном счете, от литературы в общепонятном, общепринятом смысле? "Как славно здоровый смысл народа звучанье слов переменял: недаром, видно, от ухода он вывел слово «уходил»", любил он цитировать тютчевскую эпиграмму. "Мне пора уходить", говорил он перед уходом. Разговорное клише превращалось в экзистенциальный каламбур. Перед своим окончательным уходом он дописывал письмо матери — туда, откуда не возвращаются. Когда и как случился перескок в "неизменяемость", в заумь, в другой язык? Был ли это перескок или постепенный уход, тем более сознательный, что даже в 70-е годы документы самиздата вызывали у него грустную усмешку именно потому, что были написаны "о том же и тем же языком" — языком противника.

В его уходе в другой язык (в буквальном смысле тоже: он исписывал страницы иностранными цитатами), как и во всей его литературной деятельности, есть чисто биографические причины — вне зависимости от идеологических резонансов. Это не значит, что он, в духе русских символистов или Оскара Уайльда, путал жизнь и литературу — в конечном счете его ежедневная жизнь была рутинной, скромной, вполне упорядоченной жизнью частного преподавателя иностранных языков на дому. Однако эта литературность его биографии и биографичность его литературы — скорее от постоянной, почти физиологической потребности просветлять каждый свой шаг, свой поступок, словом. Нас пытаются запугать анонимной беспросветностью этого мира. Поразительное умение найти точное слово, фразу, цитату для самых подавляющих депрессивных поворотов своей судьбы создавало удивительное ощущение просвет-

ленности всего его облика. Он пытался отыскать названия анонимным пугающим нас вещам, пытался в мировой литературе проследить цитаты чужого опыта, чтобы не сойти с ума от ощущения уникальности собственного страдания, избавиться от ощущения одиночества и, якобы, неповторимости советского убожества. "Давайте встретимся", — говорил он в телефонную трубку. — "Я пойду вам *навстречу*. Слышите?" Он шел на встречу. Он хотел увидеть себя в других и других в себе. "Самого себя" он не искал: он им был.

Он носил в себе другой, иностранный язык с детских лет. Его мать, образованнейшая по тем временам женщина (выпускница Высших женских курсов в Петербурге) обучала его немецкому. Хотя "Фауст" в оригинале был его настольной книгой, немецкий, как это часто бывает с языком школьной поры, оказался именно тем языком, который он знал хуже всего: в отличие от французского, на котором он свободно изъяснялся, и английского, который стал его вторым родным; в смысле владения английским он был, практически, двуязычен. Тем не менее, немецкого оказалось достаточно, чтобы именно цитатой из "Фауста" отбрыз солдата вермахта, когда, во время оккупации станицы Мигулинской, тот стал подозревать в Улитине советского военнослужащего, демобилизованного в связи с ранением. Ранение (хромота) было результатом увечья во время допросов и отсидки в карцере Бутырской тюрьмы перед войной, но, видимо, с точки зрения немецкого солдата знание языка "Фауста" само по себе реабилитировало Улитина, ограждая его от каких-либо подозрений в связях с советской властью. Как достаточно оказалось, десятилетие спустя, нескольких английских фраз, чтобы изобразить из себя иностранца перед милиционером у проходной в американское посольство в Москве, куда Улитин попытался прорваться (в жуткую эпоху — за год до смерти Сталина), с анекдотической авоськой в руках, набитой собственными рукописями. Этот шаг был, как сказал бы Виктор Шкловский, материализацией метафоры: это была попытка прорыва в другой — анти-советский — язык, в буквальном смысле — через границу. Вместо этого он угодил в еще одну метафору — за границу иного рода — за рубеж нормальности советского бытия: он был помещен в Ленинградскую тюремную психбольницу. Но и там он сумел переплести свою жизнь и литературу — в буквальном смысле: овладел ре-

меслом переплетчика в мастерских больницы (трудотерапия), где перешлетал не только классиков, но и стенограммы его разговоров с новыми друзьями-сокамерниками.

Все, что известно о нем, рассказано им самим. Все, что он рассказывал, действительно произошло. Неизвестно, однако, происходил ли тот или иной конкретный эпизод с ним или с кем-то еще. Я помню, как он говорил о случайном столкновении в тюремном коридоре с еще одним подследственным, которого тоже вели на допрос. Он увидел, по его словам, передвигающийся скелет и ужаснулся. Только позже, ночью в камере, до него дошло, что в глазах встречного он, очевидно, выглядел точно так же. Я многие годы пересказывал другим эту историю — в ней была символика той эпохи, тем более пугающая, что не нуждалась в интерпретациях и расшифровке. Пока, наконец, не наткнулся на точно такую же встречу в тюремном коридоре на страницах "1984" Джорджа Орвелла. Речь идет не о плагиате: просто Павел Улитин предпочитал говорить о собственном опыте чужими словами. Может быть, многократные требования многочисленных следователей на протяжении многих лет расписаться под протоколом допроса отбили охоту изъясняться искренне, лично о себе, своими словами? Недаром его реакция на подпись великого инакомыслящего под очередным посланием вождям — была: "Неужели ему еще не отбили охоту выписывать свою фамилию под протоколом?"

Он наизусть знал почерк и манеру расписываться десятка русских классиков. Его антисталинская записка лектору на втором курсе ИФЛИ (впоследствии Литературный институт им. Горького), послужившая непосредственной причиной его ареста, была послана анонимно. Но кто-то идентифицировал почерк. Не с той ли поры сличение почерка и вообще каллиграфические упражнения стали его страстью? Его позднюю прозу следует скорее созерцать, нежели *читать* в традиционном смысле слова. Оригиналы рукописей Улитина — это еще и своего рода визуальное искусство. Вид рукописи тут не менее важен, чем сами слова: тут все играло роль — расположение текста на странице, мозаика из подзаголовков, полиграфических вставок, напоминающих талмудическо-теологические средневековые трактаты с комментариями на полях, с рукописными вклиниваниями и росчерками. Эта проза — как произведение изобразительного искусства; хотя бы поэтому ее нельзя пре-

вратить в манифест или в дидактическое наставление будущим поколениям. (Я снова вспоминаю полоску бумаги с молитвой, положенную на лоб покойного.)

“Еще раз напишешь — убью!” — зачитывал мне Улитин еще один пример каллиграфического искусства: предупреждение мелом на стене арки своего дома: “Это наш дворник: стирал, стирал заборные надписи, а потом надоело — решил сам взяться за перо”. При его судьбе трудно было не воспринять эту цензурную угрозу дворника на собственный счет.

Завораживающая сила и очарование Улитина в постоянном соскальзывании, впрыгивании литературного слова в разговорное, наших поступков в его пародийный пересказ. Он был в огромной степени литературным эстрадником — когда случайные выкрики из зала тут же загоняются эстрадным комиком перед микрофоном в комментарий с подмостков. Его литература творилась на ходу — и тому есть не слишком веселое объяснение в его мемуаристике: не надо заводить архива, над рукописями трястись — и не только из высоких пастернаковских соображений: архив все равно будет отобран при обыске. То, что осталось от него в зафиксированном виде, напомнит постороннему читателю пересказ чужого сна или подслушанный обрывок телефонного разговора, или чужое письмо без адреса и адресата. Слова в подобном жанре интригуют своей интимностью, но одновременно отталкивают своей видимой или невольной зашифрованностью: мол, у нас свой разговор, не суйся, все равно ничего не поймешь. Это как огласовка в древнееврейской Библии: значки остались, а музыка ушла от нас навсегда. Это как запись балетных ходов хореографа: никто еще не научился их записывать. Улитина надо было видеть — скажем, в лучшие годы в кафе, а позже у себя дома за бутылкой вина: обложенный записными книжками, с закладками на нужных страницах, с листочками, где выпечатаны были заранее заготовленные цитаты-шпаргалки, со страничками английских романов и почтовыми открытками, не считая картинок с подписями, вырезанных из иллюстрированных журналов. С бокалом кислого вина в одной руке и с авторучкой в другой (чтобы тут же записать промелькнувшее в разговоре слово, которое станет ключевым для будущего разговора, разговора в будущем о прошлом) он не говорил, а танцевал на пуантах цитат из прошлого и подхватывал сиюминутное высказывание со-

беседника как литературную цитату из классиков.

Может быть, именно эта сиюминутность в обращении с вечностью, это мгновенное, у всех на виду превращение разговорного слова в литературное, сам акт сопоставления случайного и ничтожного с историей у тебя на глазах — то есть, по сути дела улитинская иллюзия легкости самого акта творения — страшно заразительны. Он каждого умел превратить в героя. Каждый, благодаря улитинским страничкам, становился выше в собственных глазах, прыгал выше головы. Когда тебя или твоего знакомого цитируют, это создает ощущение эпохального мгновения, в котором ты оказался по воле судеб. Проза Улитина, с ее апологетикой читателя как личного собеседника, это протест против литературной ксенофобии — страха перед чуждостью. Это чужие слова, воспринятые на свой счет. Отсюда — стремление к повтору, к эху однажды сказанного слова в других обстоятельствах и на другом языке. "Слово — это судьба слова", — любил повторять он. Улитин помнил ваши слова двадцатилетней давности и мог повторить их именно тогда, когда вам показалось, что вы стали другим: ваши прежние слова стали для вас литературой. То, что читалось двадцать лет назад как личный документ, стало литературой, которая, в свою очередь, станет личным документом для будущего читателя.

Я помню свое ощущение от вида и манеры письма первых увиденных мною улитинских страничек: какое-то мгновенное узнавание всего того, что составляло нерв твоего предыдущего разговора с ним, но ушло бы без этих страничек незамеченным, неосознанным, неопознанным. Первая мысль: так вот из какого мелкого сора, из каких ничтожных ссор создается великая литература! И сразу же — детская мысль: я тоже так хочу, и я так буду! Я воспринимал как литературную манеру, стиль, то, что было, в действительности, всей его жизнью; точно так же, как для Оскара Уайльда, скажем, жанр притчи был не стилистическим приемом: он просто-напросто мыслил притчами, как скульптор мыслит в мраморе. Улитин мыслил цитатно, потому что у него отняли и его интимные слова, и его интимную жизнь. То, что осталось в виде слов, страничек, текстов — лишь стенограмма, дайджест того, что происходило в его литературном уме. Именно ум его был литературен, был литературой, а не то, что он писал, не манера письма. То, что записывалось, было лишь ниточкой-цепочкой цитат, проводящей

его память по еще одной анфиладе комнат и закоулков неведомого прошлого: неведомого, потому что как и советская история, перелицовывалась заново, творилась на ходу — всякий раз в зависимости от нужд момента в очередном разговоре.

Параллели его стилистических ходов с советской ситуацией соблазнительны своей клинической убедительностью и напрашиваются сами собой. Уже в 60-е годы, в разгар хрущевской оттепели, был арестован в Минске неизвестный Улитину ревностный поклонник его таланта: он переписывал от руки машинописный вариант его романа "Анти-Асаркан". У Улитина был обыск и были отобраны все его законченные произведения. (Обещали вернуть. Оставили телефонный номер: для справок. Сказали: позвонят. С тех пор Улитин никогда сам не подходил к телефону. В его последнем, записанном перед смертью сне, мать просит его позвонить ей по телефону — на тот свет?!) Не в этом ли причина того, что вместо книг он стал создавать "подборки" из отдельных страничек? Стал шифровать конкретные имена, играть псевдонимами, подменять реальные реплики в стенограммах разговоров со своими собеседниками — цитатами из английской классики или наоборот, подставлять, ради розыгрыша, в страницы классики имена своих друзей. А вдруг то, что мы читаем сейчас — не стилистический эксперимент зрелой поры, а страшная необходимость, продиктованная попыткой вспомнить несколько уничтоженных, навсегда исчезнувших романов? Всплывает цитата, вызывает эхо старых слов, сказанных по тому же поводу в иную эпоху, отзывается словами вчерашнего собеседника и все это заворачивается в одну бесконечную гримасу недоумения перед непосильностью задачи: восстановить мгновение, отобранное при обыске, раздавленное сапогом?

Связный пересказ эпизода из его прошлого был крайне редок. В большинстве случаев, особенно когда присутствовал третий лишний, это был водоворот недоговоренных историй, мемуарных обрывков, цитат, литературных аллюзий и реминисценций, короче — его собственная проза, зачитанная, наговариваемая вслух, на глазах у собеседника. Сам стиль подачи был настолько завораживающим, что фактическая сторона мало занимала. Отдельные эпизоды и инциденты прошлого возникали лишь по ходу разговора — лишь как отклик, как реплика на сказанное тобой слово, как мимоходом сочиненная притча, по-

рой длиною в одну фразу, для прояснения мелькнувшей мысли, мотива, намерения собеседника. Историографические отступления в собственное прошлое лишь подчеркивали интимность разговора; эти отскоки в "эпохальность" превращали личный разговор в историческое событие. История как будто творилась у тебя на глазах. И этот ненавязчивый призыв-приглашение к застолью истории подтверждался непременно письменно: в почтовой открытке, в страничке письма ты вдруг замечал вкрапления собственных, тобой забытых реплик недавнего разговора, и твое слово, оттененное речью другого, начинало звучать значительно и эпохально. Проза Улитина — это приглашение, бесплатный пропуск в собственную эпоху, куда нас не пускали не только тюремные решетки цензуры, но и намордники обличительных эпопей. Но пропуская нас в историю эпохи обманными ходами, он запутывал и историю своей собственной жизни.

Он создавал условную, почти театральную атмосферу общих тайн и секретов, и в этой затабуированности — освященности ритуалом — совершенно обыденной ежедневной рутины и, одновременно, в уходе от этой зашифрованности в прямую речь — суть его литературного жеста. Прелесть этого жеста в том, что Улитин постоянно провоцирует тебя на ответ, на интимность, конфессиональность, заставляет все воспринимать на свой счет. С почти наркотическим самозабвением, с андрей-беловским надрывом в общении, он предавался этому опаснейшему из занятий: не боялся обратить личный разговор в прямое выяснение отношений — хватал уползающую реплику за хвост, зная, что в голове — ядовитые зубы. "В этой стилистике — только ссориться", — недоумевал на первом этапе общения с ним поэт Михаил Айзенберг, последний и самый внимательный из близких собеседников Улитина. Отсюда такая двойственность в отношении к нему тех, кто был с ним близок: невозможно думать и вспоминать о нем, не "сочиняя" — переписывая, перебирая в уме — заново разговоры с ним. Иногда сожалешь, что не записывал сразу: но в действительности записывать было нечего — стенограмма существовала лишь в уме и постоянно перезаписывалась.

Когда я уезжал в эмиграцию, он пригласил меня на прощальную встречу. Достал три бокала (третий — для вечно отсутствующего "главного" собеседника), поставил между нами

бутылку кислого вина и сказал: "Можете задавать любые вопросы". Я ждал подобного момента открытости десять лет. Мы сблизились в середине 60-х, под занавес "эпохи кафе" (кафе "Артистическое" в Камергерском переулке), куда, кроме нас, продолжали ходить лишь те считанные люди, кто эту "эпоху" совершенно не замечал. Я внимал ему с бессловесной одержимостью идолопоклонника из подростков. Слушатель постепенно превращался в собеседника. Подросток — в Версилова: он подарил мне слова о диалектике моей бессловесности тех лет. В атмосфере московского интеллектуального сиротства он открывал архипелаг неведомых мне имен, где в его пародийных пересказах отношений Белого с Блоком, Уайльда с Андре Жидом или Джойса с Беккетом мне мерещилась разгадка отношений Улитина с его заклятыми друзьями и ближайшими врагами. Его прошлое казалось мне Олимпом — иной, неведомой страной; он был для меня — за границей, и в каком-то смысле я эмигрировал из Советского Союза в разговоры о его прошлом, в его несостоявшееся будущее. "Отделение старшего детства", — гласила вывеска на заборе детской больницы напротив его дома в Савельевском переулке. "А у нас тут — отделение младшего маразма", — повторял Павел остроту своей жены Ларисы. Люди в России быстро стареют. Я уезжал от страха перед смертью на отделении младшего маразма.

Какие вопросы я мог задать? Это был как раз тот случай, когда всю его жизнь надо было поставить под вопрос, когда вся жизнь и была вопросом, той тайной, загадкой, не формулируемой в виде вопроса. Она же была и ответом, если бы этот ответ можно было прочесть одним махом. Наш вопрошающий взгляд — это тяга к исчезновению в душевном опыте другого, в душевном опыте, который кажется ясным и соблазнительным в своей цельности, лишь когда вглядываешься в него со стороны. Это желание пережить иную для тебя, загадочную жизнь без страдания ее переживания — без ежедневного отбывания срока этой жизни — прямо так, сразу, с налета, в одно мгновение. Бутырки до войны и Таганка после, тюремная психбольница и обыски на воле, сломанные ребра и порванные сухожилия, спайки в легких и дичайшие приступы депрессии, полная литературная безвестность и наплеватьство лучшего друга, — неужели при всем при этом возможно сохранить самоиронию и чувство дистанции по отношению к собственным

страданиям, неудачам и невзгодам? В отличие от многих своих современников и сокамерников, он умудрился не превратить свою биографию ни в назидательную байку, ни в обличительную жалобу.

“Он ловил свои ритмические мгновения за машинкой, а мне казалось, что он ловит тополиный пух; по-моему, тополиный пух следовало оставить в покое, правильнее заниматься исследованием (выдумыванием) деревьев” (Ю. Айхенвальд). Пух можно не только ловить. Его можно поджигать. Но Улитин не хотел и не мог заниматься исследованием. Ни деревьев, ни людей, ни животных. Он занимался называнием. Называнием неназванного и неназываемого. Именно не запрещенного, а *неназываемого*. Даже в свои “плохие” периоды, когда он целыми днями валялся на диване, отвернувшись к стене, с английским романом в руках, его мрачность и злость не выходили за рамки личных счетов — с друзьями, со всем миром и человечеством, если хотите; но он не искал тайных врагов, не поддавался соблазнительному опьянению “темным вином” (Ф.М. Достоевский), сварганенным из идей всемирного заговора, не отождествлял себя со всей Россией и не считал, что русскую литературу калечат пришельцы. Ему претила демагогическая закваска российской культуры, с ее педагогическим одергиванием и библейско-пророческими взвизгами (не оттого ли русская литература так затягивает в себя евреев?) В интонации его прозы — отказ мыслить масштабно, в едином сюжетном строю, от имени и по поручению. Отсюда — культ необязательности, временности, культ черновика, одержимость каллиграфией на бумажной салфетке, тяга к перу и китайской туши на необычной бумаге, короче — склонность увековечить именно случайное и неповторимое, бессознательно засевшее в памяти. Это не поиски оригинальности, а уход от общеупотребительности.

Он каждого своего читателя превращал заразной легкостью, тополиным пухом своей прозы — в писателя. Но этот писательский зуд в большинстве случаев и был не более чем зудом — проходил, как проходит у детей ветрянки: в отличие от настоящих оспин, ветрянки не оставляет следов. Решив увековечить оспины своей судьбы, большинство поклонников его таланта переставали быть читателями, но писателями они так и не становились. Оставалось ощущение опустошенности, как от всякой встречи с великим человеком — и еще неясная

обида и стыд за эту опустошенность, злость на себя, и не отсюда ли — замалчивание его фигуры, его роли в твоей биографии? Я могу назвать с десяток имен и старше меня поколением, и младше на десяток лет, на кого улигинская манера письма действовала как наркотик, гипнотизировала долгие годы. Куда делись все эти мальчики и девочки, превратившиеся в многострадальных мужей и великовозрастных гимназисток? Почему они забыли это, как шампанское, ощущение легкости и ненавязчивости улигинской трепотни, и вместо этого подключились к суровому литературному труду — за славу, деньги и почести? Почему они ни разу за эти годы не назвали его имени? Почему же все эти поклонники, эпигоны и преданные слушатели (чьи имена я отказываюсь называть в наказание за их тактику замалчивания), почему заклятый друг и лучший враг (чье имя мне было запрещено называть, поскольку его носитель, видимо, вообразил себя Богом), почему весь этот круг приближенных Улигина тут же отстранялся от него, начинал неопределенно бормотать, впадать в состояние "младшего маразма", чуть ли не отрицать знакомство с ним в московских светских кругах и никогда не упомянул его имени в серьезных литературных сборниках и редакционных посиделках? "А что он пишет? Что услышит, то и запишет?" — брезгливо пожимали плечами посторонние.

"По Прочтении Уничтожить" — так Павел Павлович Улигин расшифровывал свои инициалы: ППУ.

Одно из объяснений этого катастрофического замалчивания друзьями дружеских имен в том, что жизнь вне своего круга считалась советской, не-нашей, идеологически враждебной, чуть ли не потусторонней, кромешной, где имен наших не должно произносить, чтобы не замарать их идеологической некошерностью. Но есть и менее замысловатое объяснение: это трусость, боязнь конфуза, страх оказаться в дурной компании, среди неудачников и (кое-кто считает) сумасшедших. Помочь в личном плане? всегда пожалуйста! Но не на людях. Библия не стеснялась тратить страницы на, казалось бы, бессмысленное перечисление имен тех, кто вышел из Египта. Мы же стесняемся на людях назвать имя близкого друга и наставника.

В нем не было чисто российской идеи перевоспитания — ни младших поколений, ни властей. Он не верил, что один человек может духовно возвыситься над другим. И поэтому его

не боялись. Он не был учителем, и потому не требовал законной доли в истории твоей души: его легко было вычеркнуть, вырвать страницу его прозы из твоей памяти. "Что же останется?" — в конце концов спросил я. Ответ сводился к следующему: "Останется легенда". Выяснилось, что и легенды забываются. В манускрипты Леонардо да Винчи столетие спустя лавочки завертывали селедку. Рукописи, может, и не горят: в них завертывают селедку. И это еще завидная судьба для рукописей.

Никакой репутации — а тем более литературной — помочь нельзя: однажды сформировавшись, она пребывает неизменной. Можно помочь лишь ее носителю — самому литератору — вне зависимости от его репутации. Русская культура (в отличие от английской, выстраивающей из кирпичиков стилистического новшества еще одну скромную литературную нишу) могла бы увидеть в Улитине нечто большее, чем чисто литературный эксперимент: чуть ли не целую духовную школу. Видимо, подлое отношение к человеку искупается, в некоторых исторических ситуациях, коленопреклоненностью в отношении литературы. Однако Улитин, выйдя из литературы, захлопнул дверь перед носом и единственно возможных для него в России потенциальных благотворителей — духовных радетелей. (Прилипшая ко лбу покойника в гробу полоска бумаги с молитвой — не пропуск в литературу.) Ему никто не помог. И тем не менее он, сознавая свою литературную легенду, продолжал работать на нее вне зависимости от собственной физической беспомощности, моральной несостоятельности или какого другого банкротства: он сознавал, что наша личность, наша литература больше и выше нас самих. И в этом чуть ли не святость его скромности. Он не становился в позу обиженного гения, а продолжал раскидывать на ветер и подкидывать собеседникам слова и идеи с прежней легкостью, чуть ли не подростковой безответственностью.

Слишком многие декларировали вечную верность разговорной речи, эпистолярному жанру, альбомной необязательности, давали присягу дружескому застолью. Но за недолгие два века русской словесности мало кто продержался на незавидном рационе слова как дружеского рукопожатия, на случайной болтовне, на записной книжке личных счетов и обид, на стенограммах философских мычаний кулуарной исповеди. Мы, скорее, склонны к духовному блефу вопиющего в пустыне

(при страшной толкучке) и спешим замуровать личные отношения в великую китайскую стену противоречий между Востоком и Западом, православием и интеллигенцией, партией и народом, между т.д. и т.п. Разговорная интеллигентская речь загадочным образом дискредитирована. Подозрительные к собственным интонациям в кругу близких, мы выходим на публику, выжучивая из себя старательно, как кошкодавы, тягучие доносы на собственную историю, притом исключительно в национальных масштабах. Сквозь дырки наших авосек, туго набитых томами эпоей, вылетает весь тот личный мусор и сор подробностей, весь тот прекрасный словесный ералаш, который и склеивает суровые дни нашей жизни в чудесный роман.

Существует некая загадочная дистанция, отделяющая личное письмо от страницы романа, дистанция, чьи пределы и непреодолимость всегда будут загадкой. Но каждому пишущему хорошо известно, что чем меньше эта дистанция — тем свободней дыхание литературы. Стиль Улитина — сокращать эту дистанцию до мыслимого предела, ободряя и подзуживая самых робких и отверженных рекрутов русской словесности. Если цепочка личных отношений читателя с автором не прерывается, то сюжет в этой прозе — сам процесс ее чтения и ее сочинения: это не литература, а само ее становление, ее вольное дыхание; это не разговор о чем-то — это само и есть что-то, разговор, формирующийся избранным кругом читателей. Вход в этот круг свободный. Приглашаются все. Но не все остаются. К сожалению или к счастью в литературе приживается лишь то, что повторимо и повторяемо, что, как утильсырье, можно использовать дважды. Я боюсь, что Улитин в русской литературе не приживется. Он — не приживальщик: его нельзя использовать в качестве рассылного по разным духовным надобностям. (Никто не знает, когда, кто и где прочтет полоску бумаги с молитвой на лбу покойника). Можно лишь стать его собеседником и получать в ответ на вопросы письма, не дающие ответов на вопросы.

Когда собеседников вокруг не оставалось, он уходил из кафе и отправлял самому себе по почте цитату из тютчевской эпиграммы: "Приветствую Ваш неуспех, для Вас и лестный и почетный, и назидательный для всех".

Лондон, 1985-1991

П.П.Улитин

БЕССМЕРТИЕ В КАРМАНЕ

Вот оказывается самое необходимое звено в этой цепи. Случайная собеседница. Все выЛОЖИЛ. А потом стал от нее прятаться. Вполне естественно. Андрей Седых играет эту роль. Я не знал, что он поседел. У рассказчика записывали рассказ много раз, но такого неудачного варианта еще не было. Повесть, написанная под диктовку. Казалось бы, все работали в одном жанре, а вот поди ж ты. Самый неудачный вариант весело осведомлялся: верх? низ? как сегодня? Рассказчик готов был убить веселого любознательного собеседника. И для этого болвана я проделал такую работу, жуткое количество труда. Кирпич в кирпичной стене — это когда про чужую судьбу. Это когда про чужую беду. Для этого необязательно было углубляться в краткую историю английского народа. Одна надувная лодка на двоих. Мы плывем в одной лодке. В разных ситуациях скромно повторялось: мы с Давидом Юмом, мы с Антонио Мачадо, мы с Ортега-и-Гассетом не так думаем. Мы с Кьеркегором ввалились в этот дом. Уже верится с трудом. Бессмертие в кармане: так он и думал, но дело оказалось сложнее. Забавный поворот. У тех же самых ворот: лексика та же. Мы бывало ныряли среди красивых кораллов на дне лагуны. Она была уверена не только в точности, но и в поэтичности своей работы. Она не знала, что романтичность должна быть в чужих глазах. Она не знала, что в тот самый момент, когда она сама себе казалась такой романтичной, трезвость в чужих глазах находила ее жалкой и

Интервалами отделяются одна от другой страницы авторской машинописи, которые у Улитина являются самостоятельной единицей текста.

даже смешной. Ключ. Ключи. Куда девались ключи? А эти два ключа от чего? От могилы на кладбище, как потом оказалось. Серьезно себя воспринимал. Это от великой неуверенности.

А то бы мы сидели и перечисляли, кто что помнит. Я помню, что все это мне надо забыть. Уж что он читает или что оттуда вычитывает, это дело другое, но он все-таки читатель. Бабушкины сказки о бабушкиных книгах в бабушкино время. Бывало, у нас появляется книга, и все ее читают целое поколение, а теперь что? Водородная бомба, никаких бардаков, неудивительно, что все они кончают педерастами. А у вас книга дается на 3 дня или на одну ночь, проглатывается впопыхах, а через три дня все гоняются еще за какой-то книгой. Я люблю время от времени возвращаться к прочитанной книге. Я не могу вам ее подарить насовсем. Я люблю, чтобы книга у меня лежала, и я ее буду раскрывать. Безумно скучаю, не зайдете ли на чашку чая? Кубинские сигареты пахнут высушенным навозом. В лесу раздавался стук пишущей машинки. Озеру мы даем понять, что нам дороже всего велосипед. И вот я свободна, никого не люблю, но ищу того, кого буду боготворить. Мне кажется, я его нашла. Жизнь без любви — то же, что бутылка без вина, но нужно, чтобы вино было хорошее. Она не знала, что цитирует Марию Башкирцеву. Тициан — что, Тициан умудрился 99 лет прожить, это неважно, что он рисовал ненастоящие женские груди. Ты сегодня потерял много гражданского мужества. Тебе нужно отдышаться и набираться сил. Ешь побольше. А я приду с работы, и мы опять. Проблемы перевода "Пенелопы" на русский язык решены одновременно в Ленинграде и в Москве, но мы не видели ни того, ни другого.

Кафедра — это я. Кафедра истории буржуазной философии — это я. До такой скромности не дошло. Да, это уже больше, чем нужно, в 2 раза. Трудящиеся жигуляют. Моя жена остроумная женщина острит с утра пораньше. Это хороший знак. Для нее. Это плохой признак для машинки: значит скоро придется переходить на английский диктант. Слишком много юмора у хетгов. Это верно, что особая лихость тут только мешает. Теперь надо как можно короче. Можно, конечно, и без этого обойтись. Можно. Я вдруг заинтересовался глазами болезнями. У художников, у фотографов только. Глаза у Джеймса

Джойса никак не отразились на "Воскрешении Финнегана". Лучше это предположить, чем наоборот. Зато придется объяснять множество необъяснимых иначе вещей. Это даже интересно. Ой Райкин! Ну как же это я. Уход от ритуала не состоялся в том смысле, что поиски путей неисповедимы, а терпения на чтение не хватает. Тошно перечесть в том смысле, что человеку легче написать новые 20 страниц, чем прочесть 10 старых. Это же никуда не годится. Таким путем страница не уйдет дальше переливания из пустого в порожнее. П из П в П — это был и будет ритуал. Вот чего не хватает, так это слюнявых пальцев товарища понятного, чтобы он пересчитал очередные 1416 страниц и на этом дело закончил. Зеленый карандаш не актуален. Я про ковьяль не помню. Жажда мучила с новой силой. Уйдем в старинные стихи. ЧБ — это честь безумцу, который навеет. Хорошие были стихи, жалко, что забыл. Человечеству сон золотой уже навеяли, честь безумцу уже воздали. Уже все это было. Пора бы и Пановой чего-нибудь сказать.

Странности странного семейства — братья так и не познакомились, это хорошо только в романе у Достоевского, в жизни так не бывает. Странности отражают эпоху, но еще больше каждый характер в отдельности. Я просидел на морозе всю ночь. Что они сделали с людьми? Кто это — о н и ? Такие люди. Никто с ними ничего не делал, просто они проявляют свой характер.

Тебя испортил большой город. Ты был такой послушный мальчик. Мы жили на периферии. Имелась в виду Карамышевская набережная или Лесная улица. За победу пришлось платить. Нашему вниманию не надо ничего предлагать. Наше внимание и так перегружено, бедное наше внимание. Далеко от шумной толпы за 100 лет до разговора о мегатонках в лесу чередовались медленные ритмы сельской природы. Чем все-таки не понравилась Джули Кристи?

Я стал осторожно относиться к птицелову.

А ведь тоже носилось в кармане. У наскоков свои закономерности. Я не знал, что я перевожу с английского. Я не знал, что я читаю Достоевского с позиций Лиона Фейхтвангера. Не вижу возвращения к лукоморью у крысолова. Один период кончился, другой еще не начинался. Я отметил начало, но это еще не значит, что будет продолжение. Все будет зависеть.

А когда я получу любовь под вязами?

А пошлите вы этого мастера к той Маргарите, у которой вы видели его фотографию. Во всяком случае, эта лесная тропинка для велосипеда была как потерянный рай. Оценил, попав в гущу уличного движения самого большого города.

Настоящая неблагодарная сопляжница. Ее задача была раскусить тоже твердый орешек, по ее мнению.

Специалисты по внеземным цивилизациям заговорили. Не вижу, не вижу. Чужие ритмы только мешают. Мешают. Когда отсутствовал уют. Можно было воспользоваться и чужим языком. Что они в нем находят? Что я должен тут найти? Где, по-моему лебедь, рак и щука в "Эдгаре и Кристине"? Я имел в виду "Сокровище византийского купца". Нет, я с тобой не буду говорить, пока ты не согласишься Мишель Морган в "Призрачном счастье". Недаром Валентин Петрович любил повторять: кино — великое искусство. Нам слишком нравятся наши собственные шутки. Раскрой любой переплет, и ты увидишь, раскрой. Я очень боялся такого конца. Не надо так издеваться над читателем. Я читал эту книгу не для того, чтобы прочитать книгу. Но прочитал и почувствовал себя обновленным человеком. Гадюка была хороша. На даче мы не дошли до конца. Она путешествовала. Я не знал, что это путешествие, я думал: просто поездка. Значит задело. За дело! Туман окружает все эти попытки. Почему профессионализация интересов должна свидетельствовать об их серьезности, не знаю. Все туда прячут. Я так и подумал. Характер нас не устраивает. Очень уж это похоже на те страницы, которые я выбросил. Кажется, договорились, а вот ничего не получается. Что-то явно развлекательное просвечивает и смущает. Это забавно. Слова, вырванные из контекста, позабыв о контексте, начинают нищенскую жизнь. Вспомнил. Речь шла именно об этом. Как бы это сказать попроще? Как будто у нас что-то было, о чем я хотел бы рассказать так, чтобы вы все поняли, а никто другой не догадался. Как будто у нас все впереди, а мы стараемся кому-то внушить, что заняты мы совсем другим. Как будто я вам про вашу жизнь, не зная ничего о вашей жизни. Отдельные находки ничего не значат, если не сказать обо всем остальном.

Мне показалось это важным. Когда все слова кажутся

одинаково ненужными, наступает кризис. Самое опасное во-круг лошади, которую все время прищипывают. Кто отбил охоту рисовать пером? Ах как я любил рисовать пером! Я так любил рисовать пером. Впрочем, я это уже говорил 120 раз. Но такое ты можешь понять. Еще бы. Конечно могу. Я только не хочу. Меня тоже нужно понять. Меня же отказываются понимать. И даже дело не в том. Трудно уловимый момент, но он бывает. Так же как широкий формат нужен для разгона, чтобы войти в ритм. Ритм съезжает в конце дня работы на карандаш, и вот это-то и становится главным. Где-то в промежутке у чужой лексики появляются нужные интонации, мы ими дорожим. Если бы мозг сразу включался на 3-ю скорость, получалось бы очень кратко, но вместе с тем и обедненно. Этому нас научил разговор без продолжения. Теперь картина ясна. У него там 4 плана. Опять же каждый имеет в виду что-то другое. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Рецепт не выдержан. Нужно ли было выдерживать, тоже вопрос. Любопытно, конечно, переселиться в их шкуру. Во всяком случае, несмешно, когда это с тобой происходит. Любая страница может начинаться с ударного места. Но такое лучше запрятать в середину. Не слишком ли много там чужих особых интересов, вот вопрос. Еще хуже было с трудом без капитала. Кстати, глупое название. Но мне почему-то тогда нравилось. Эту книгу я любил. Эта книга помогла мне выжить в ту жуткую зиму, когда и роман — живой роман — мог привести в отчаяние. Почему-то не учел ошибки. Видимо, сработала та мысль, что и так и так можно.

Чуть-чуть перейди на его точку зрения, и сразу попадаешь в плен. Тогда придется признать ненужность тебя самого. Бунт поднимается внезапно: мой взгляд ничем не хуже вашего! Что-нибудь такое, чего раньше никогда не было. Огорчает только взаимозаменяемость частей. Нет разницы или не вижу разницы, это одно и то же. Зачем? Зачем? Зачем? Эти колокола почему-то молчали. Он давно уж сгнил, а она уж успела двух мужей сменить за это время. Защищайте свои интересы, защищайте. Утверждайте свой вкус, утверждайте. Равнодушие заражает тоже. 1 234 дерева — ну и что? Дуб, тополь, вяз, береза, яблоня, акация. Нас интересует только яблоня, потому что на ней могут остаться яблоки. И старая груша, зимний сорт, в октябре только поспевает. Если я вам скажу, вам будет смешно. Значит,

разговор был необходим, если он все-таки был. Что остается? Странные вещи. Уж, казалось бы, я к этой колокольне 20 раз возвращался, и все уже сказано. Его возмущает явно чужой подход. Руку мастера он уважает, но ему нужен свой подход. Я с грустью озирался на окрестность. Им смешно? Они видят тут себя? Им хотелось бы быть такими? Полчаса в конце концов — это не 4 часа, а могло бы быть и 4 часа. Лепестки дикой розы в это лето ни разу не раскрывались. От рисунка пером ничего не осталось. В этом доме на самом видном месте торчат вонючие веревки. И коммуноид заняпствует в книге Андрея Белого "Маски" на — какой странице? Мне показалось, что это важно. Андрей Белый куда-то исчез.

"Кошмар" из "Кенгуру". Зачем тебе кошмар из чужого романа? Это забавно, как они оценивают свои собственные возможности. Голова на плечах — одна видимость. Как он себя скрутил! Как он может себя скручивать! Тут расчет на всеобщее внимание. Недостатка в любопытных доброжелателях не было. Когда все это отошло, появилась потребность повторить все сначала. Живописное окружение не ценилось. Как язык сценаристов из "Ветхого завета". Мало прошло времени. Вот уж я вижу, что ерунда, а не страница, и все равно продолжаю. Еще раз вспомнил про работу с клеем. Еще раз отогнал навязчивую мысль. Я пошел не той дорогой. В сарае лежал переплетный пресс. Сельский хозяин читал "Русское богатство". Переплет делюкс не всегда означал самую интересную книгу. Я сначала подумала, что она кормит ребенка. Я тоже. А коровы в 17 веке были такие же.

То, что я никаким путем ни при каких условиях не захочу вспомнить, — да конечно.

Или вспомнить, но ни в коем случае с этими деталями. Или про кого-то еще. Да. Вот забавный трюк. А читатель — тоже не дурак: он знает, какой ценой автор достигает яркой обрисовки отрицательного персонажа. У вас так много учеников, Федор Михайлович, так много всяких и разных, и все клянутся именем вашим, Федор Михайлович. Кому-нибудь еще улыбнешься, если тот — покбйник, так и пойдет по цепочке. Тут сидели все потом расстрелянные. Я никого не знал. А она их всех знала по имени. Мне надоела эта игра. Но дали понять. Да уж ясней неку-

да. Как-нибудь переживу. "И чей-нибудь уж близок час" надо переводить как "Скоро твоя очередь".

У старого магазина-амбара, который был переделан в народный дом, клуб и театр, на веранде крышу подпирали гладкие отполированные тонкие удобные железные столбы. Тут мы крутились, забавлялись летом. Зимой в варежках крутить карусель было холодно, неудобно и неинтересно. Но были другие, подчас жестокие забавы. А ты не приложишь язык к железному столбу. А ты не лизнешь железо. Кто-то из мальчишек постарше. Как это так, я все могу. Вот так. И он показал, только слегка прикоснувшись. Я приложил язык храбро и усердно. Он примерз в одно мгновение. И вдруг я почувствовал, что я его не могу отодрать. Я сильнее, ничего. В отчаянии рванул со всей силой, не стоять же тут, как дурак, на морозе. Кажется, с кровью. Мальчишки встретили хохотом. Я понял, что меня обманули. Слишком длинно получилось, теперь это видно.

Теперь я вижу другие закономерности. Не прошел даром и бессловесный год. Эта работа требовала усидчивости и постоянного возвращения. Учебник литературы был исчеркан карандашом. В качестве уникама хранился потом в школьной библиотеке. "Бзик" хорошо употреблен. Очень удачная строка. Наш человек. Вы думаете, у нас с вами нет врагов? Не наш человек. Эта музыкальная комедия тем и запомнилась. У него был какой-то испуганный вид, а шофер получал удовольствие. Парижская зелень и берлинская лазурь — самые употребительные слова 1907 года. А вы думали, какие они? Они всегда были такие. Тем страшнее и ужаснее. А вы с этим еще не столкнулись, увы, но все впереди, но все впереди.

Тряхни грушу. Я был оскорблен и обижен. Он, конечно, хранит эти письма. Странная семейка.

Может быть, это и правильно, но скучно. Вот тут уже просто ошибка начинается. Есть что-то от "Фата моргана" Коцюбинского. Есть. Они все больше и больше становятся похожими друг на друга. Есть же параллельные конструкции, но я их пока не вижу. Недостаточно начитаны для плагиата, можешь им сказать. Полное собрание изюминок — это плохо, потому что заставляет искать изюминку среди изюминок и потому что только на фоне внимания, прикованного к НЕизюму, изюм звучит как

изюм. Тоже не метод. Научил на свою голову. Ничего не понимаю. Кто писал, неизвестно. Вот это литература. Отчетливое ощущение ожога. Обо что я обжегся? Как будто ни за что горячее рукой не трогал, а на пальцах точный ожог. Ой нехорошо, ой нехорошо, ой нехорошо. Вот тебе и игра без правил. Все вы там друг друга подзуживаете, и на каждого из вас должна быть домашняя трезвость и безопасность. Он пошел на неделю. Но он всегда оттуда приходит взъерошенный, взбудораженный и опрокинутый. Открой французский роман. Посмотри польский журнал. Наркоманка — это дочь наркома? Убить тебя могут. Плчему ты не читаешь про убийства? Это же так интересно. У меня эта стилистика сидит в печенках. Напоминает протуберанец. Но тут же точные науки, профессиональная трезвость, что вы хотите. Доктор Кибернетович моделирует робота. 3-летний ребенок напоминает электронную машину, которую еще надо запрограммировать. Ему нужно крупными буквами. Мелкие буквы он просто не замечает. Молодец ребенок. Я только в старости понял, к чему это относится.

А потом я вглядывался в эти слова и ничего в них не видел. А потом я читал снова эту страницу и что-то находил, чего там не было раньше. Мы эти капризы видали и не в таком еще виде. Мост имеет самостоятельное значение. Такая приятная неожиданность. В этом коридоре я возвращаюсь к тетради в три линии. Я пошел в биБлиотеку. Вот именно.

Мне надоело единоборство с краткой историей английского народа. Амбивалентность русской лексики ставит американцев в тупик, но китайцы выручают. Я посмотрю на вас, я посмотрю на вас. Тонкий лед на озере в начале зимы гибок и удивительно прочен: трещит по всем швам, а не проваливается. Такой же лед весной жутко коварен, он не трещит, он ломается, проваливается без предупреждения.

Он забыл, что когда-то я его спас. Но и я тоже хорош был в этот год на этом самом месте. Мы больше к Тициану не возвращались. Вот это и есть один из двух легионов Цезаря, и в данном случае главный легион. А он? А он забыл также, как я ему поломал втулку заднего колеса, обещал прислать из Москвы и так и не прислал. Велосипед полностью вышел из строя.

В какой-то момент я перестал ему верить. Таким образом, лексика теперь другая, хотя проблема та же самая. Забав-

ная штука — считать капли яда. Как будто на самом деле есть только одна дорога под уклон, а все остальные ведут ввысь. 25 октября в 10 часов утра временное правительство низложено. Очень во время.

Мороз. Вот почему Макаров чешет затылок.

А ведь тоже, наверно, питает иллюзии. А то какая бы еще сила заставила. Забавно. 14 часов в сутки? Мало. Сократить сон. Поставить рекорд. Были там и трезвые голоса. Но я считал, что меня это не касается. Ко мне это не относится. Известно, чем кончится: новых друзей не приобрел, а старых потерял. Какое же сегодня число? 12 раз спросил. 16-е или 23-е? Кажется, на этом можно остановиться. Также мне сокровище. Из-за такой малости волноваться и весь сыр-бор? Убивать-то зачем нужно было? Для сюжета? Нужна как электрическая машинка. Но в его глазах это было произведение искусства. Вот ужас-то какой! Убери ты эту! А он серьезно не понимал: почему? Там было два вида из двух разных комнат. А рассказчиков сколько? Я не мастер рассказывать, сказал Тургенев. А кто ж тогда мастер? А ты еще с этим бревном церемонился. Ничего не понимает болван.

ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА ЭТО ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

Что-то похожее на КФ. Придется читать вслух. Можно начать со Степана Трофимовича. Меня занимали нейтральные слова на грани табу. Здесь нейтральных слов не было. Сразу две ошибки. Озабоченность потрясающая. Смешно было бы настаивать. Почему-то вы похудели. У вас лицо обтянулось. Шестой кабинет: 40 минут вежливого разговора с ученой дамой, только и всего. Если бы взвеситься, обнаружилось бы, что я потерял за эти 40 минут 4 килограмма. Такая удача. Было бы ужасно, если бы меня застали врасплох или подняли с постели. Только и всего. Не было бы адресата, не было бы таких слов. Забавно.

Москва 1967 г.

Игорь Померанцев

”ГРАФ РЫМНИКСКИЙ”*

*Но, как раб, умираю за отечество **
и, как космополит, за свет.*

А.С.Суворов

Мой заезжий дом метрах в ста от особняка, где в конце сентября 1799 года квартировал Суворов со своим штабом. На новенькой никелированной табличке Суворов именуется ”генералом”, на гипсовой облупившейся ”генералиссимусом”. В Альтдорфе у генералиссимуса серьезный соперник: местный стрелок Вильгельм Телль. Тот самый, которому, надо думать, мы обязаны выражением ”попасть в яблочко”. На майдане стоит памятник Вилли и его сыну. В руках у отца арбалет. И отец, и сын — в деревенских туниках и подштанниках. На лицах ни тени сомнения, грусти, страха. Но Суворов и его французские неприятели тоже не забыты. Французский штаб под начальством генерала Лекурба квартировал в стройном, словно застегнутом на все пуговицы здании. Суворовский особняк, хоть и

* Беру на себя смелость представить на строгий суд читателя заметки повести ”Граф Рымникский”, утерянной вместе с моим багажом в лондонском аэропорту Хитроу. Заметки я делал в записной книжке, так что они сохранились. За багаж я получил по страховке компенсацию, однако присяжные Оулд Бейли отвергли иск на выплату компенсации за рукопись, поскольку мои прежние литературные труды не принесли мне ни славы, ни достатка (прим. князя П.)

**Этот эпиграф предпосылался повести (прим. князя П.).

трехэтажный, но все равно кажется приземистым. Поздняя усталая готика. Стрельчатая крыша в рюшах. При особняке флигель, сарай, запущенный вертоград. Если бы таблички не было, все равно можно было бы угадать, где квартировали французы, а где русские. У французов — элегантней, у русских — уютней. Суворов свои временные пристанища именовал "винтерквартирами". На самом деле они не всегда "винтер". Швейцарская кампания выпала на сентябрь. Воздух в долинах отстоялся: был румян, бархатен. От кампании остались картины художников-баталистов, а они недраматичному бархату предпочли колючие вершины в снегу. Снег был, но не часто и помалу. И вот еще чем пренебрегли живописцы: мулами. Для провоза провианту Суворов планировал запастись 1344 мулами, для подвозу горных орудий и прочих военных снарядов — 70, для погонщиков — 5. Его мучил вопрос: можно ли везти хлеба и сухарей соответственно на 737 и 402 мулах. Генералу от Австрийской Кавалерии Меласу Суворов предписал обеспечить армию для горного похода более чем 1000 мулами. Генерал же дал мулов только под горную артиллерию, но в прочих отказал: мол, найдутся в Беллинцоне, откуда путь на Сен-Готард. В Беллинцоне же мулов не оказалось. В сем отчаянии не оставалось иного средства, как употребить вместо мулов козачьих лошадей. Наконец, Великий Князь Константин Павлович прислал Суворову около 400 мулов с проводниками, кои наняты были только до Беллинцоны. Узнав сие, Суворов заключил с ними новый договор: до того времени, покуда нужны будут. Но дороги по горам были столь узки, что едва и порожняя лошадь могла по оным оборотиться, тем менее отягощенные вьюками мулы. Так что за головой колонны шествовали лишь 10 мулов с ружейными патронами. Мулов же с провиантом и партикулярными вьюками поставили в хвосте. С мулами связаны и другие козни австрийских союзников. Так, австрийский Обер-Провиантмейстер Рупрехт остановил и навьючил овсом в Павии 1344 мула, тем замедлив их марш. В результате на многотрудном переходе через горы из Альтдорфа в долину Муттен Суворову пришлось задержаться на три дня, чтобы дожидаться подвозимого на козачьих лошадях и мулах провианту. По причине высоты горы Ринкем и крайне худых дорог измученные мулы и козачьи лошади часто низвергались в бездны. Но все же суворовцы прорвались по ужасным утесам и кривизнам гор, имея под ногами своими облака.

Второй суворовской заботой после мулов были солдаты. Пить им надлежало, если вода не добрая, отварную и отстоянную, из крепко полуженных котлов. Белье неленостно вымывать. Ежели кто на другой свет пошел гулять, то не числить живым в надежде на провиант. В госпитали отправлять страдающих чахоткой, водянкой, "камнем", сифилисом и падучей. Больных же, слабых, хворых и прохладных лечить при полках, чтоб не вступали в смертоносный воздух от умирающих, не хлебали смертного дышу. Посредством кислой капусты, табаку и хрена нет скорбута, а паче при чистоте!

Утром в вестибюле в ячейке для ключа я нашел подметное письмо:

Любезный Князь!

Вы сделались победителем и остановились! Вы спрятались за унтеркунфт, принялись за нихтбештимтзагерство. Если я темна, то потому, что темны Вы.

Чувствительно благодарю Вас

Вместо подписи яблоко, пронзенное стрелой. Что за чертовщина!

16 сентября 1799 года в Гатчине Император Павел подписал собственною рукой ведомость Армии Генерал-Фельдмаршала Князя Итальянского Графа Суворова-Рымникского. В добавок 4 корпусам назначались 15 эскадронов тяжелой кавалерии и 40 эскадронов легкой, среди них эскадроны кирасирские, драгунские, гусарские (кавалерия), гренадерские, мушкетерские, егерские (инфантерия). Альтдорфцам это основательно потрепанное войско могло бы показаться маскарадным шествием, но не показалось. Суворов едва сдерживал слезы, наблюдая павловские мундирные новшества. Сам он был маньяком униформы, требовал "наблюдать свою должность в тонкость", сурово наказывал за наложение заплатки не того же цвету, что мундир. Всегда лично проверял надраенность гренадерских патронных сумок-лядунок (в ту пору ручные фитильные бомбы-гренады уже вышли из употребления), телосложение кирасиров, их мундиры из замши лосиного цвета, штаны-лосины, тупоносые смазные сапоги с раструбами, перчатки из лосиной

кожи с манжетами, длину нафабранных усов, палаши, шпаги с темляком из черных и золотых нитей, пистолеты в чехлах, гусарские доломаны (куртки) и чакширы (рейтузы), украшенные шнуром, свисающие с левого плеча ментики, отороченные мехом, смушковые шапки с ярким шлыком (гусарские полки первоначально формировались из сербов, венгров, молдован и грузин, так что русские барышни казались им обольстительными чужеземками), высоту плюмажа из желтой шерсти, завершавшего каску пехотинца (полтора вершка), крепость офицерской гневливой трости, темляк бригадирской шпаги из желтого и черного шелка, кирасирские палевые колеты, голенища пионеров (инженерные войска). Если бы швейцарская кампания случилась пятью годами раньше, то именно такой маскарад предстал бы пред очами альтдорфцев. Но, может статься, их потешил сам семидесятилетний старец на козачьей лошади, в синем драпом плаще, прозванном солдатами "родительским", и круглой шляпе с большими полями. Справедливости ради, должно отметить, что павловское "опрусачивание" униформы не сказалось отрицательно на качестве сукон и других матерьялов. В своей "Истории Российско-Австрийской Кампании" Егор Фукс описывает, как французы, чтобы остановить русских, разрушили пролет Чертова моста (Тейфель-Брике). "Но майор Кн. Мещерский, — пишет Е. Фукс, — бросается через поврежденный мост; офицеры подают ему доски над бездною; связывают их шарфами" и т.д. Что же это за чудо-шарфы вязали на исходе XVIII века от Р.Х.?

Крутизны Сен-Готарда не только не воодушевили воинство, подвизавшееся под начальством непобедимого Суворова, но повергли его в уныние. Шепот недовольства перерастал в ропот, а ропот в негодование: "Он из ума выжил! Куда он нас завел!" Суворов велит вырыть могилу у подошвы Сен-Готарда, собирает воинство вокруг свежевырытой ямы и восклицает: "Здесь похороните меня! Вы больше не дети мне — я более не отец вам — мне ничего не остается кроме смерти!" В ответ слезы умиления, выкрики: "Веди, веди нас!" В этом историческом эпизоде все гениально: могила на самом деле вырыта, она не фигуральна, ее даже не вырыли, а выдолбили употребленные для сего саперы и пионеры. Обращение "дети" тоже, оказы-

вается, не фигуральное. С солдатами Суворов обращается как с детьми: вот могила, не будете слушаться, я в нее сейчас лягу, останетесь одни, без отца, не стыдно? И тогда наступает катарсис. Дети плачут, тянутся к отцу, падают на колени, целуют руку, поднимают над головой и несут.

Британский историк, подполковник Спэлдинг в исследовании "Suvoroff" (1890 г.) бесцеремонно задается вопросом: "Почему полководец завел свое войско в альтдорфский cul-de-sac?" Русский однокорытник Спэлдинга, профессор Николаевской академии, генерал-майор Н.А. Орлов с превыспренностью, элоквенцией и эквивоком отмечает, что "швейцарский поход представляет высокопоэтическую, если угодно, высокотрагическую страницу в русской истории" (1900 г.). Коллега Н.А. Орлова, ординарный профессор полковник А.З. Мышлаевский столь усердно сдувает с облика Суворова пудру шута, что оголяет истины понадрывней: "Главною чертою духовного облика полководца было безмерное его честолюбие и жажда славы. Слово "слава" было неизменно-заключительным в его речи к солдату; искреннее признание в честолюбии, обуревавшем всю жизнь, было едва ли не последней фразою в устах умиравшего: "Долго я гонялся за славою, — все мечта!" В речи "Суворов — представитель славянства", произнесенной Н.А. Орловым в заседании Славянского Благотворительного Общества 11-го мая 1900 г., в день памяти Св. Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских, с одобрением констатировалось: "... одно главное ядро поляков было уничтожено. Затем, под Столовичами, наносит он удар другой массе поляков... Именно Суворовым положено наиболее резкое начало разрешению польского вопроса, очень важного для славянства... 24 октября 1794 г. штурмовал Прагу, предместье польской столицы. Штурм был веден с замечательным искусством и сопровождался потоками крови". Вот таким представителем славянства предстает Суворов. Швейцарские Альпы он оросил уже потоками русской крови. Зачем?

В 1649-ом году Воеводе Архангельскому пришла грамота от Государя: "Се Яз, Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя, и Белыя России Самодержец, тебе, стольнику Нашему и воеводе, сей наказ чиню. Ведо-

мо Нам, Великому Государю, учинилось, что в Архангельски город на заморских кораблях англинские многие люди с разными товары пришли. И, как к тебе ся Наша, Великого Государя, грамота придет, велел бы ты, стольник Наш и воевода, не по един раз на торгу биричем прокликать и крепкий заказ учинить, чтоб торговые и промышленные наши люди с теми англинскими людьми никакими б торги безошлинно не торговали, поминков не имали и похлебства не чинили. Понеже у них в Англинской Земле большое злое дело учинилось, короля своего Каролуса нагло до смерти убили; а в стольном их городе Лондыне парламент их сидит не по королевской помете и изволению, а насильством и поноворкою”.

Комментируя эту грамоту в Офицерском собрании армии и флота в 1899 году, ординарный профессор А.З. Мышлаевский говорил о "... новом течении в области внешних политических соотношений, стоившем нам впоследствии много напрасно пролитой крови. Течение это я не имею иначе назвать, как политикой сентиментализма и стремления закрепить в чужих для нас странах те основы государственного правления, которые составляют наше собственное незыблемое достояние”.

Это достояние и привело монархиста Суворова в Альпы. Его предпоследними словами на смертном одре были: "Поклон мой... в ноги... Царю... сделай... Петр! ... ух! ... больно!" Петр — это князь Багратион, один из героев бессмысленного перехода через Сен-Готард. Другому Петру, Великому, отец Суворова Василий Иванович в течение нескольких лет служил денщиком. Могила Александра Васильевича находится в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, за левым клиросом, у окна.

Лыжники роятся в Альтдорфе, что суворовцы. Утром они уходят в горы, весело размахивая палками. Под вечер возвращаются на костылях. Эта смена палок на костыли столь естественна, что ее не замечаешь.

Не скрою, что подметное письмо заинтриговало меня. Как найти корреспондентку? Начал с самого простого: поиска русских фамилий в телефонном справочнике. Перво-наперво проверил, нет ли среди альтдорфских абонентов Фертчей и Курнаковых. Дело в том, что генерал-майор Фертч с полком своим и сотнею казаков под командою Войскового Старшины Курна-

кова были оставлены Суворовым в Альтдорфе для прикрытия вьючных обозов. Уже несколькими днями позже в сражении в долине Муттен Курнакову прострелили обе руки, так что покуролесить он мог до Муттена, а не после. К моему изумлению, в справочнике нашлись и Фертчи, и Курнаковы. Последним я тотчас позвонил и, услышав женский голос, сказал по-русски: "Здравствуйте!" То, что мне ответили по-русски — "А, это вы, любезный князь!" — меня почему-то не удивило. Мы условились о встрече.

Еще в нежном возрасте меня мучил вопрос: что же все-таки лучше: свинчатка или кастет. Свинчатка была надежней, кастет красивой. В мужчину с кастетом можно было запросто влюбиться, на мужчину со свинчаткой — положиться. То ли у Суворова не было детства, то ли он напрочь его забыл, но сомневаться он не умел. Он наверное знал науку побеждать. Нападение — есть лучшая защита... силы артиллерии распределяются вдоль колонны... где пройдет олень, там пройдет и солдат... на голову от росы колпак, на холодную ночь плащ... потному не садиться за кашу... голод — лучшее лекарство... пудра — не порох, букли — не пушки, косы — не тесаки, и мы не немцы, а русаки!.. взгляд, быстрота, натиск!.. Богатыри! Неприятель от вас дрожит, но есть враг хуже неприятеля и больницы — немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, безтолковка... слушай, слушай: субординация, экзерциция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава! слава! слава!.. быстрота, глазомер, натиск... баба бьет задом, передом, а дело идет своим чередом... ломи через засеки, бросай плетни через волчьи ямы, прыгай через палисады, стреляй по головам, спускайся в город, режь неприятеля, конница — руби, бей на площадях, ставь гаубвахт, руби, коли, гони, отрезывай!.. слава, слава, слава!..

Этот литературный стиль, восходящий к Суворову, пережил свой Ренессанс во Вторую Мировую войну. Походя замечу, что Кампанию 1799 г. в ряде западноевропейских стран называют Второй Европейской войной. Не походя же приведу выписки из методичек времен Второй Мировой: ... смерть, в том

числе и тихая, должна подстерегать врага на каждом шагу... наиболее чувствительными к удару ножом местами человеческого тела являются: а) область лица, главным образом глаза; б) область шеи / сонная артерия — с той и другой стороны — и горло; в) область сердца; г) область солнечного сплетения; д) область живота; е) промежность; ж) небольшая площадь между нижним окончанием черепа сзади и первым шейным позвонком (спинной мозг)... удар заканчивается резким, как бы акцентирующим движением руки в момент соприкосновения ножа с целью... удары в глаза имеют особо важное значение в зимнее время, когда тело защищено теплой одеждой... нанесение ножевого удара должно заканчиваться поворотами ножа вправо и влево... удар должен быть продолжен полукруговым движением от нижнего края затылка до подбородка противника... нож, описывая полукруг, попадает в шею с задней ее стороны и должен быть рассчитан на перерез сонной артерии... к числу виртуозных комбинаций относятся серийные удары ножом по кругу...удушение необходимо комбинировать с ударами головой в лицо противника и с ударами его головы о землю...

Может быть, это несколько манерней, чем у Суворова, но при этом не менее афористично. Ныне мне неловко вспоминать ту сомнамбулическую остроту чувств и глубину ощущений, которые вызвал у меня в детстве самодельный деревянный кинжал, спрятанный под подушкой.

Мы встретились на кладбище у кирхи. "Мария! — представлялась она, — Мария Курнакова". На вид ей было лет двадцать, сухонькая, в очках. "Представлю-ка вам и других соотичей", — сказала она. Мы пошли вдоль кладбищенской аллеи. "Вот здесь Повало-Швейковские... Здесь Велецкие..." — "Позвольте, — перебил я, — Велецкий командовал полком в дивизии генерала Ферстера?" "Да, — ответила Мария, — а в дивизию генерала Повало-Швейковского входило четыре полка." Мария остановилась у мраморного бюста теплого пепельного оттенка: "Узнаете?... Нет?... Генерал-лейтенант Аркадий Александрович Суворов". — "Позвольте, — не стерпел я, — сын генералиссимуса, как известно любому дошкольнику, покоится в Воскресенском монастыре, иначе Новом Иерусалиме, в 45 верстах от

Москвы. Утонул 26 годов от роду в реке Рымник... был женат на Елене Александровне Нарышкиной, по кончине его вышедшей за князя В.С. Голицына". "Инсценировка". "То есть как?" "Да-с. Утоп не Аркадий Александрович, а его фельдшер Наум. Его-то и обрядили в генеральский мундир, а лицо утопленника так распухло, что супруга Елена Александровна в покойницкой лишилась чувств и пришла в себя уже по дороге из Воскресенского монастыря. Аркадий же Александрович вернулся к герцогине Саганской, Катерине Фридерике Вильгельмине Бенигне в Альтдорф, где и опочил на девятом десятке... Да, князь Пруцкий". "Отчего вы меня так величаете?" "А разве вы не из тех мест? Мартинешти, Рымник, Фокшаны, Серет... а оттуда рукой подать до Хотина, Черновцов, Прута, который когда-то называли "границей рая вечернего..." "Нет, — почему-то заупрямился я, — я волжанин". "Ну, не судите строго, князь". "Вы знаете, Мария, судя по этому погосту, в Альтдорфе живут или, по крайней мере, умирают только русские". "Вы верно судите. Кроме итальянской прислуги в графстве Альтдорф — все русские". "??? Мария, спустимся в деревню... вы нанесли мне столь глубокие раны, что их надобно примочить вином, хоть черно-тинтовым, хоть золото-кипрским."

И мы пошли, припрыгивая, говоря отрывисто, вменявая поговорки и пословицы.

— Разве вы не заметили, князь, что в Альтдорфе нет зеркал?

— Да как же мне это в голову не пришло! Ведь граф Рымникский не терпел зеркал!

Ночью мне приснились два стиха Державина:

*Отныне горы в век Альпийски
Пребудут Россов обелиски...*

Так вот что имел в виду поэт: вполне натуральные обелиски на альтдорфском погосте. У меня словно пелена спала с глаз. Я стал иначе понимать Суворова, его словесные маневры, его желание заслонить Альтдорф и альтдорфцев от железного скипетра Империи. Вот как он страшит Императора Павла Швейцарией: "В сем царстве ужаса на каждом шагу зияли окрест нас пропасти, как отверзтыя могилы. Мрачные ночи,

безпрерывные громы, дожди, туманы, при шуме водопадов, свергающих с вершины гор огромные льдины и камни..." И это о райски-курортной Швейцарии! "... Русские перешли снежную вершину Бинтнера, утопая в грязи, под брызгами водопадов, уносивших людей и лошадей в бездны... Слов недостает на изображение ужасов, виденных нами, среди коих хранила нас десница Провидения".

На всякий случай Суворов страшает и митрополита Амвросия: "Провидение забросило нас за облака: отсюда шаг и мы на экваторе, или под полюсом — сторим или замерзнем". (Ср. с Державиным, который битву за Сен-Готард назвал "хохотом Ада", а о самой вершине сказал, что она касается "главой небес, ногами ада".) Да, в подмогу Суворову бросается Гаврила Державин, вдохновитель операции "Альтдорф":

*Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся...*

*.....
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?*

Куда сокрылся майор, князь Мещерский, известно. Он был одним из тех офицеров, кто связывал доски Чертова моста шарфами. Тогда-то его и ранило. Последними словами князя были: "Друзья! Не забудьте меня в реляции!" С этим он и упал в пропасть.

Задним числом графство Альтдорф многое проясняет. Скажем, поведение Суворова по завершении Швейцарской кампании. Урон русских простирался до пяти тысяч человек. И это за двадцать дней кампании! Падшие главы французской гидры сугубо возрождались. Даже Сен-Готарда не удалось отстоять: Луазон выбил оттуда многоопытного Штрауха, оставленного Суворовым. Единственным достижением похода было то, что Суворову удалось унести ноги ("Боже, даруй! Достигнуть до границы!"). Между тем, вел он себя так, словно одержал выдающуюся победу. Хронисты-анналисты отмечали, что в Регенсбурге он явился на бал к принцессе Турн-Таксисской при всех орденах и регалиях, громко хохотал, пикировался. О снятом с него портрете сказал: "Я не смотрел в зеркало сорок лет, но помню, что я тогда был красавец, а тут написан какой-то старик!" По вечерам Суворов устраивал у себя шумные собрания,

праздновал русские святки, заводил святочные игры, жмурки, жгуты, подблюдные песни, играл в хороводы, путал и смешивал танцы и заставлял немцев выговаривать трудные русские имена. В общем, как он сам сказал 10-го января 1800 года: "Мы здесь плавали в меде и млеке".

Поначалу Император Павел хотел почтить героя: "Благодарю победителя при Требии, Нови и Мутентале, и жалею, что мирнее начинаю новый год, нежели прошедший начал. Спешите ко мне, не мне тебя награждать, герой, но мне чувствовать и ценить твои дела, отдавая тебе должное". Императорским Приказом от 24 августа войску велено было отдать Суворову все надлежащие почести в Петербурге. Для пребывания полководца отводился Зимний Дворец; встретить героя велено было пальбой из пушек и колоколами. Но тут, как гром среди ясного неба, императорская немилость. Историки не в состоянии ее объяснить. Благорасположение сменилось на гнев. Все петербургские почести и приемы отменены. В Зимний Дворец въехал не Суворов, а Принц Мекленбургский. В бедной литовской хате Суворов стонал: "Боже великий! За что страдаю?" Он знал, за что страдал. Он догадывался, что истукан Павел что-то пронюхал про русскую колонию в Альтдорфе, кто-то что-то ему нафискалил. Лишь смерть положила конец страданиям Суворова. Он умер на нескольких руках, в том числе и на руках Державина. Обряд отпевания совершил митрополит Амвросий.

Постучали, и я сказал:

— Войдите.

Вошла Мария. Прямо с порога сказала:

— Вас желает видеть Суворочка... Ее Величество.

Я поклонился. Разогнулся. Подошел к ней и привлек к себе. Мне с первого взгляда понравилась ее, как говорят в Холландии, *нидстаркуватая* моложавость, ее парафиновая кожа. Я предвосхищал свечную горячность, податливость, хотелось сжевать ее, впечатываться зубами. Менее того, близость с Марией волновала меня этнографически. Еще в младенчестве меня конфузили державинские строки:

*На бархатном диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.*

Что значит "вливаю"? Я любопытствовал, как миловались, лобызались, содрогались на исходе XVIII в. от Р.Х. Все свершилось, но иначе, чем я предполагал. Мария на секунду отстранила меня, но так изящно, словно это было балетное па. Встала на цыпочки, хотя росточка я был с нее, зажмурила глаза и, пролепетав "не сожигай меня", выпучила губки. Я скинул с нее накидку, подбитую горностаем. После бархатную шляпу "шуте" с перьями райской птицы. Затем последовали: бархатный помпадур, набитый всякой дамской всячиной, шателэн со связкой ключей, веером и кошельком. Кринолин Марии украшали воланы с цветочными гирляндами. Сам же кринолин поддерживался, как оказалось, еще одной жесткой юбкой, подушкой, проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами и резиновыми шлангами, наполненными воздухом. Я слегка поцарапал большой палец об ус. Из дессу я отметил, хоть уже совсем потерял сердце, гепьер на шнуровке, стягивающий талию, полдюжины нижних юбок белого цвета, корсет, зашнурованный по-английски на спине. Судя по крохотной груди, я понял, что в детстве Марии по ночам накладывали на бюст свинцовые плиты. Разделавшись с вязаными подвязками с пряжками — здесь я пустил в ход зубы — и клювовидными ботинками, я признался Марии в любви не на словах, а по-настоящему. Какие воздушные замки обживала она в это время? Было когда-то такое слово: "досязать", т.е. одновременно досягать и осязать...

На улице нас ждал фазтон, запряженный парой рыже-соловых лошадей. Мы тронулись и к вечеру добрались до верхней мызы. Я сунул кучеру две лепты, и мы вошли в прихожую. Я скинул соболью шубу. Ее Величество встретила нас звонким кукуреку. Ей было лет четырнадцать. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не едва заметная печать вырождения: полное отсутствие подбородка. Но живые косенькие глаза с лихвой окупали этот дефект.

— Князь Прутский со своей Пленирой! — Она кинулась целовать мне руку.

— Ваше Величество, помилуйте!

— Нет, нет, младшие должны лобызать стариковские руки!

— Ваше Величество!.. Пощадите мои седины... ну какой я князь?

— А Пленира Вас не оповестила? Наш Гроссе Рат возвел Вас в княжеское достоинство графства Альтдорф с титулом Прутский.

Я припал к ее стопам:

— О, Фелица!..

Она ослабилась:

— Получите в дар украшенную бриллиантами золотую табакерку с 500 червонцами. Работа Иоганна Вильгельма Кейбеля, петербургского ювелира, сына золотых дел цехового мастера Отто Самуила Кейбеля... Как вы изволили, князь, назвать свое повествование?

— "Граф Рымникский".

— Видите, как благозвучно: "Граф Рымникский" князя Прутского.

— Да, ширень да вирень...

— Князь, в такое счастливое мгновение не до кабацких песен. — И она протянула мне серебряную кружку, наполненную сушеным хлебом с лимонной коркой и поровну английским и русским пивом. — Да, вот что я хотела прояснить, князь: Вы в повествовании пишете о кровожадности моего Пра-пра. Экий либеральный нонсенс! Вы возбуждаете клеветы. Разве...

— Ваше Величество, я польщен вашим вниманием, но разве ваши маменька и папенька не говорили вам, что читать чужие заметы — дурно?

— Я сирота, — всхлипнула она. — Не обижайте меня... Да, разве вы не знаете, что поляки поднесли Пра-пра почетную саблю и украшенную камнями табакерку с надписью "Варшава — своему избавителю"?

— А разве не сам граф сказал живописцу курфирста Саксонского Миллеру: "Ваша кисть изобразит черты лица моего: они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать вам, что я лил кровь ручьями".

(В этой связи любопытно суждение адмирала Нельсона, писавшего Суворову: "Некто видевший Вас... сказал мне, что нет двух людей, которые бы наружностью своею и манерами так походили друг на друга, как мы". Суворов ответил: "Глядя на портрет Ваш, уверился я и впрямь в некотором меж нами сходстве".)

— Да, ручьями, а не реками, Прутский! И разве он не сказал: "Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлобления не чинить. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду"? А кто покровительствовал французским пленным, когда на охотничьих тропах перевала Паникс (высота 2404 метра) их хотели съесть голодные пионеры и егеря?

— Ваше Величество! Вам нет нужды действовать фронтально. Французские пленные были и впрямь выведены по свежывывавшему снегу и позднее разменены. А плененному генералу Лекурбу, тоже почетному альтдорфцу, Суворов на прощанье подарил розу со словами: "Отвезите это в подарок супруге вашей от старика Суворова!" Лекурб хранил цветок как реликвию.

— Да... о морозах. Вот вы помянули сентябрьский атласный воздух...

— Бархатный!

— Да, атласный, и съязвили насчет "винтер". Но, князь, в Очаковские времена зимы начинались уже в августе! Лишь с победой либерализма погода стала либеральной.

— Ваше Величество! Умоляю: только не о политике. Разве мы не в Аркадии, среди пастухов и пастушек? И потом... простите великодушно, Державин под "погодкою" разумел "ветер", "ветерок", а наша Афродита?

— А ваша дочь до цитерских шашней еще не доросла.

Она кивнула, и мы удалились. Краем глаза я заметил, что наш кучер, сидя на козлах, играл на бирюльке, а сельские ратники близ градири резались в ерошки и фараона.

На следующий день после кончины Екатерины трое соратников Суворова были пожалованы восшедшим на престол Павлом в фельдмаршалы (граф Н.И. Салтыков, князь Н.В. Репнин, граф И.Г. Чернышев). В дни траура радость свою им надлежало выражать публично. Еще спустя 16 дней такой же жезл был пожалован Каменскому. В следующем году Павел обласкал И.П. Салтыкова, Мусина-Пушкина, Бролио. Суворов же удостоился последовательно двух выговоров и был отстранен от командования Екатеринославским корпусом. Ему оставалось лишь явиться перед полком, выстроенным на Тульчинской площади, чтобы выкрикнуть, глотая слезы: "Прощайте, ребята-товари-

щи, чудо-богатыри!” Он отбыл в почтовой тройке. В дальнейшем Император общался с полководцем через полицейского чиновника, состоявшем при опальном герое в родовом сельце Суворовых Коншанском. По словам биографа Н.А. Полевого, Суворов в Коншанском вставал рано и отправлялся на сельскую колокольню звонить, слушал в церкви заутреню и обедню, в продолжение которых исправлял должность пономаря и дьячка, пел на крылосе, читал Апостол, подавал священнику кадило. По воскресеньям заходил после обедни на водку к священнику.

Пока Суворов возгонял злобу на Павла, Россия вместе с Англией и Австрией заключила условия о войне с Францией с целью уничтожения революции и возведения дома Бурбонов на французский престол. Вот тогда-то Павел и вспомнил о коншанском пономаре. Правда, прежде главнокомандующим над Австрийскими войсками в Италии был назначен принц Фридрих Оранский, умерший в январе 1799 года в Падуе, в то самое время, когда принимал вверенное ему начальство, которое после предназначалось Эрцгерцогу Иосифу Палатину Венгерскому, а на время предоставлено было Генералу от Кавалерии Барону Меласу, за болезнью же Меласа поручено Генерал-Фельдцейгмейстеру Барону Краю.

В письме Павла, доставленном в Коншанское, говорилось:

Граф Александр Васильевич!

Теперь не время рассчитывать. Виноватого Бог простит. Римский Император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда, и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня довольствия вас видеть.

В первых числах февраля к Петербургу под скрип тяжелых деревьев мчалась почтовая кибитка, а в ней сидел старичок, помышлявший об одном: заложить основы своего собственного графства среди неприступных пиков Альп. На рассвете петербургские петухи надрывно приветствовали старичка.

Отношения между Суворовым и Державиным можно

было бы назвать безоблачными, если бы не одно облачко — четыре стиха в оде "На взятие Измаила":

*Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,
Всяк мудрый любит тишину.*

Другие обидные державинские строки ("У нас не стыдно и герою // Повиноваться красотам; // Всегда одной дышать войною // Прилично варварам, не нам.") Суворов на своей счет не отнес. Почему? Вот версия швейцарского писателя Германа Фердинанда Шелла, уроженца городка Швиц, куда так рвался, но так и не дорвался из Альтдорфа Суворов. Г.Ф. Шелл (1900-1972 гг.) — автор повести "Последняя любовь Суворова" (1946 г.), отец актера и режиссера Максимилиана Шелла, создателя фильма "Первая любовь" по повести Тургенева.

"ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ СУВОРОВА" (отрывки)

- Как тебя зовут?
- Регина.
- Регина? Королева! Это имя достойно тебя.
- Всякое имя прекрасно, когда оно одухотворено.
- Принеси-ка бутылку вина и три бокала.

В голосе Суворова была такая непререкаемость, что у сестры Регины голова пошла кругом. Это не укрылось от взора бывшего покровителя крепостей. Ведь любовь — это тоже военное ремесло, и побеждает тот, кто отважно нежен. Регина молча принесла три бокала и кинулась за вином.

Суворовым овладела сладостная истома. Он направился к окну, и эти несколько шагов дались ему не легче, чем переход Сен-Готарда. Регину била дрожь, пока она наливала вино. Он бы охотно сделал это сам, если бы не опасался, что его рука тоже сдаст. (стр. 56-58)

- Регина, у меня есть мечта.
- Она встрепенулась.

— Я бы хотел увидеть тебя еще раз перед возвращением в Россию. Где тебя искать?

— А где вы остановились на ночлег?

— Наверху, в монастыре.

— Я приду туда завтра, выхаживать раненых.

Суворов пожал ей руку, и это рукопожатие не было безответным.

— Хочешь?

— Хочу, — глухо вымолвила она. (стр. 71-72)

Суворов безмолвствовал. Он заключил ее в объятия и поцеловал. Они безмолвствовали вместе. Регине казалось, что она достигла вершины жизни, и все будущее казалось схождением вниз.

— Ответ мне прямо, даже если твой ответ будет жесток.

Она подняла голову. Волосы ее были темны, как свежеспаханный чернозем.

— Это почтение или любовь?

— Любовь, Суворов. (стр. 89-90)

— Регина, я люблю тебя! Меня ждет одиночество. Где искать тебя?

— Здесь, только здесь.

— Обещаешь?

— Да, обещаю, ибо люблю! Солнца сгорают, звезды гаснут, и только любовь вечна.

Глаза Суворова налились слезами.

— Суворов!

— Называй меня Александр!

— Не смею.

— Почему?

Она не ответила.

— Называй меня Александр!

— Александр.

— Еще.

— Александр.

— Еще.

— Александр.

— Почему жизнь начинается только на исходе? Как рыщет по жизни смерть! Но я-то должен быть доволен. Доволен? Жизнь била меня, но в конце одарила любовью. Регина!

— Скажи еще!

- Регина!
- Еще!
- Регина!
- Еще, последний разок! (стр. 147-148)

Накануне возвращения в Лондон я заехал в Люцерн покопаться в местных архивах и, по счастливому стечению обстоятельств, стал свидетелем знаменитого люцернского карнавала. Каковы же были мое изумление и восторг, когда в общей кавалькаде, где-то между маленькими Муками и большими Теллями, я увидел своих, альтдорфских. Некоторые из них ехали на мулах. Я с одобрением отметил про себя, что муниципия и мундиры альтдорфцев — послепавловского образца. Зыряне Яренского и Усть-Сысольского уездов были в картузах с медным крестом; башкиры и мещеряки — в кольчугах, с саблями азиатского типа, колчанами и налучьями с луками; на конных казаках были замшевые перчатки с крагами; у лейб-гвардейцев вместо погон желтые гарусные эполеты; канониры мели люцернскую брусчатку шароварами, подшитыми черными ляями; партизаны шагали, очерившись охряпниками, ошарашниками и пырялами с зубом; шапки стрелков были обтянуты мехом: у нижних чинов собачьим, у офицеров медвежьим; ратники-ополченцы несли полотняные ранцы и манерки, перекинутые через левое плечо; козачьи шапки из черного меха были без султанов и этишкетов, зато с чешуей на подбородном ремне. Мне кажется, кое-кто из альтдорфцев узнал меня. По крайней мере, я определенно слышал приветствие: *кукуреку*. Или это было *кукареку*?



Вл. Новиков

ПИСЬМО

Марь Васильевна, вы спросили,
Жить ли "Синтаксису" в России.
Не берусь говорить о конкретике
(там подписка, тираж, цена ли) —
ничего не петря в маркетинге,
я сужу эмоционально.
Это было б чудесно просто,
если б "Синтаксис" гордо и броско
замелькал в московских киосках
и читали б его в метро...
Но — держу я ухо остро,
и в него мне голос зловещий
вот такие вредные вещи
сквозь московскую вьюгу поет:
отпечатанный в русской шараге
на российской серой бумаге
попадет журнал в переплет!

Снова сказку сменяют были,
наше будущее — яко тать.
Вы, конечно же, не забыли,
как умеют здесь переплестать
правду с враками, с делом безделье,
с медом деготь, храм с кабаком,
кровь с водицей, с горем веселье,
а все вместе — с таким бардаком!

И опять нам нужны волшебники,
чтоб с реформ поснимать ошейники,
а пока конъюнктура иная:
тут мошенник сидит на мошеннике
и мошенником погоняет.

Хоть гипербола и сурова,
но резон в ней немалый есть,
ибо самое честное слово
не становится делом здесь.
(А особенно слово "издательство":
чуть его мы раздвинем, раскроем, —
и циничное издевательство
заянцует черной дырою.)

Ерунда, что жизнь дорожает.
Дешевеет жизнь: Дорожает
смерть. И снова судьба сажает
голым профилем на ежа.
Глядя в очи русскому богу,
прихожу к такому итогу:
друг мой, "Синтаксис", не приезжай!
Быть веселой мысли рассыльным
издалека — твоя судьба...

И сама к вам придет Россия,
если только придет в себя.

Январь 1992



ОТВЕТ КРИТИКУ *

О Шальман, критик мой, и ты
увы, способен обознаться
и в жопе чистой красоты
увидеть профиль арзамасца.

Андрей ЧЕРНОВ

* См. статью А. Чернова "Тень Баркова ("Синтаксис" № 30 и возражения Е. Шальмана "А все-таки это Пушкин!" ("Синтаксис" № 31).

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Бахыт Кенжеев. Оды</i>	
и патриотические послания	3, 10, 24, 38, 45, 65
<i>Александр Агеев. Летит стая напильников.</i>	4
<i>Л.Седов. К демократии — глухой тропой</i>	12
<i>Олег Давыдов. Кто разбил голубую чашку?</i>	26
<i>Ю.Вишневская. Эпоха великих переименований.</i>	39
<i>Г.Жаворонков. И снится ночью день</i>	46

РЕЛИГИЯ ± ГУМАНИЗМ

<i>Г.Померанц. Вопль к богу</i>	66
<i>Олеся Николаева. Апология человека</i>	113
<i>Анри Волохонский. Скептические заметки</i>	
о происхождении душ и других частях	124

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>П.Вайль, А.Генис. Вести из онкологической клиники</i>	138
<i>Александр Генис. Мерзкая плоть</i>	144
<i>Зиновий Зиник. Приветствую ваш неуспех</i>	149
<i>П.П.Улитин. Бессмертие в кармане</i>	163

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>И.Померанцев. "Граф Рымникский"</i>	172
--	-----



Цена номера 75 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 260 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

